Пространство перевода

ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ
И ПОЭТЫ ЕГО КРУГА



Перевод
АЛЕКСАНДРА ТРИАНДАФИЛИДИ

Лоренцо Медичи и поэты его круга. Избранные стихотворения и поэмы

Луиджи Пульчи, Анджело Полициано, Лоренцо де Медичи

Аннотация
Лоренцо Медичи, Анджело Полициано, Луиджи Пульчи. Лоренцо Медичи и поэты его круга. Избранные стихотворения и поэмы
Век великолепного
Лоренцо Медичи
  Сонеты
  Джиневре Бенчи
  Эклоги
    Коринто
    Аполлон и пан
  Поэмы
    Ненча из Барберино
    Соколиная Охота
    Пир, или Пьяницы
    Амбра
  Карнавальные песни
    I. Песня торговцев конфортинками

II. Песня умащений
III. Песня вафельщиков
IV. Песня садовников
V. Песня о циветте
VI. Песня крестьянок
VII. Вакхическая песня
VIII. Песня семи планет
IX. Песня цикад
X. Песня перевернутых лиц
XI. Песня пекарей
Анджело Полициано
Стансы на турнир
Книга первая
Книга вторая
Луиджи Пульчи
Бека из Дикомано
Канцона
Сонеты
I. К Лоренцо Медичи
II. К Лоренцо Медичи в неаполь
III. К Лоренцо Медичи об одном ужине
IV. Против одного доктора, своего недруга
Против Маттео Франко (V–XXIV)
Другие сонеты
XXV. К Креспелло
XXVI. К Бенедетто деи

XXVII. другу Пандольфо о душе
XXVIII. К Бартоломео делл’Авведуто
XXIX. К Марсилио Фичино
XXX. на миланцев
XXXI. По тому же поводу
XXXII. Во славу Архангела Гавриила на день Благовещения
Литература
Сведения о русских переводах
Комментарии
Лоренцо Медичи
Сонеты
Эклоги
Аполлон и Пан
Поэмы
Соколиная охота
Пир, или Пьяницы
Амбра
Карнавальные песни
I. Песня торговцев конфортинками
III. Песня вафельщиков
V. Песня циветты
VI. Песня крестьянок
IX. Песня цикад
Анджело Полициано
Стансы на турнир

Луиджи Пульчи

Бека из Дикомано

Канцона. («С тех пор как с милым Лавром я в разлуке…»)

Сонеты

Аннотация

В книге представлены в значительном объеме избранные поэтические произведения Лоренцо Медичи (1449–1492), итальянского поэта, мыслителя и государственного деятеля эпохи Ренессанса, знаменитая поэма Анджело Полициано (1454–1494) «Стансы на турнир», а также экстравагантные «хвостатые» сонеты и две малые поэмы Луиджи Пульчи (1432–1484), мастера бурлеска. Произведения, вошедшие в книгу, за малым исключением, на русский язык ранее не переводились. Издание снабжено исследованием и комментариями.

Лоренцо Медичи, Анджело Полициано, Луиджи Пульчи
Лоренцо Медичи и поэты его круга. Избранные стихотворения и поэмы

© А. Триандафилиди, предисловие, перевод, комментарии, 2013
© Издательство «Водолей», оформление, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Век великолепного

О Лоренцо Медичи, прозванном Великолепным (1449–1492), знает, пожалуй, каждый, кто имеет хоть небольшое представление о Высоком Возрождении в Италии. А кто хоть раз посетил Флоренцию, уже никогда не останется равнодушным к незаурядной личности ее правителя. Недолгая жизнь его, как яркая комета, озарила Флоренцию, сделав культуру города национальным достоянием, заложив основы новой эпохи, «Века Великолепного».

Род Медичи, пришедший в 30-х годах XV века к власти во Флорентийской республике, вскоре поравнялся с могущественными королевскими династиями Европы. Пример такого стремительного взлета банкирского клана, удержавшего свои высокие позиции на протяжении многих лет при неисчислимых богатствах и неограниченной власти, в высшей степени привлекателен. Между тем, если бы Лоренцо не был тем, кем он являлся, а только бы писал стихи, он всё равно вошел бы в анналы итальянской культуры и истории и занял бы в них далеко не последнее место. Поэтому в

нашей книге речь пойдет о творчестве Лоренцо и двух значительных поэтов из его ближайшего окружения — Анджело Полициано и Луиджи Пульчи.

Пятнадцатый век или кватроченто принято считать периодом раннего Возрождения, когда всё средневековое в искусстве постепенно безвозвратно отмирало и зарождалось новое гуманистическое искусство — живопись, архитектура, скульптура и, конечно, поэзия, свободная от религиозной догматики. Это был век, когда итальянская культура главенствовала в Европе. Если, по расхожему выражению, Италия — сад Европы, то цветком, украшением сада, является Флоренция. Именно тосканский диалект лег в основу литературного итальянского языка, именно здесь величайшие поэты — Данте, Петрарка и Боккаччо — возвели его на недосягаемую высоту. Кватроченто принял эстафету, выдвинув на первое место своих трех поэтов, живших и творивших также во Флоренции. И если первопроходцев еще тяготили цепи схоластики, то творцы следующего поколения, казалось, стряхнули их с себя, что позволило Полициано как будто напрямую передавать в своих произведениях эстетику Древней Эллады и Рима и пересадить

ее на благодатную почву ренессансной поэзии, а Луиджи Пульчи обратиться к народной комической традиции, к крайнему ее проявлению — бурлеску.

Как поэта Лоренцо можно поставить посередине между классически строгим и изысканным Полициано и подчас не в меру грубоватым, но ярким и самобытным Луиджи Пульчи. Его творчество, как неоднократно утверждалось в литературоведении, эклектично и разнообразно, в нем присутствуют почти все жанры, за исключением героического эпоса. Наследие поэта сравнительно невелико. Поэтическое включает в себя около двухсот пятидесяти стихотворений, шесть небольших поэм, две эклоги и духовную драму; прозаическое и того меньше: философско-эстетический трактат «Комментарий к некоторым моим сонетам», несколько новелл в духе Боккаччо и эпистолярное наследие.

* * *

Лоренцо появился на свет в первый день 1449 года и получил свое имя в честь святого покровителя Медичи, довольно частое в их роду. Его дед Козимо, прозванный Великим (1389–1464), опираясь на огромное состояние, накопленное

благодаря успешным коммерческим предприятиям (Медичи вели финансовые дела и римских пап), а также свои широкие полномочия, стал главою республики. Он положил начало знаменитого покровительства Медичи искусству и наукам. Начиная с него, все представители рода получали превосходное образование, обучались латинскому, древнегреческому и даже древнееврейскому языкам, во Флоренцию привлекались лучшие ученые умы того времени. Во время его правления в республике воцарился мир, сохранение которого было несомненной заслугой Козимо, на волне народной любви ему удалось успешно противостоять олигархической верхушке, претендовавшей на власть. Под руководством Козимо возводились великолепные дворцы, в которых он со страстью истинного коллекционера собирал произведения искусства (картины, статуи, монеты, ювелирные изделия и т. п.); сами эти здания были шедеврами зодчества и поныне украшают Флоренцию. Из творцов искусства при дворе Козимо Медичи достаточно назвать скульптора Донателло, художников Филиппо Липпи и Андреа дель Кастаньо, архитекторов Филиппо Брунеллески и Лоренцо Гиберти. За год до смерти Козимо, в 1463 году, внезапно скончался его млад-

ший сын Джованни, бремя власти и управления всей банковской империей легло на его старшего сына Пьеро. Страдая острой формой подагры (или, как сейчас принято считать, полиартритом), Пьеро был крайне ограничен в передвижениях и с начала 60-х годов фактически не покидал стен своего замка, тем не менее, успешно выполнял свои задачи. Он был женат на Лукреции из аристократического рода Торнабуони. Лукреция, что редко для женщин того времени, была прекрасно образована, проявляла искренний интерес к искусствам, танцевала и сама писала стихи. Кроме старшего сына Лоренцо, она подарила Пьеро ещё двух дочерей и младшего сына Джулиано (род. 1453).

Детство Лоренцо, как и его брата и сестер, проходило в роскоши дедовских замков и поместий. Обладая по своей природе ярким и чутким умом, необыкновенной сообразительностью, еще в раннем возрасте он быстро усваивал науки, как точные, так и гуманитарные, древние языки, знание которых было в ту пору обязательным; остроту ума развивал игрой в шахматы и в диспутах с учеными. Среди его учителей были выдающиеся гуманисты: латинский поэт и комментатор Данте Кристофоро Ландино, фи-

лософ Марсилио Фичино; греческую культуру и философию Лоренцо постигал в высшей школе (Studio) у ученого грека Аргиропуло, воспитавшего впоследствии и Полициано. XV век, в плане образования, шагнул значительно вперед по сравнению с предыдущим. Если познание Гомера, Аристотеля и Платона в оригинале было заветной, но недоступной мечтой для Петрарки и Боккаччо, а Данте, не зная греческого, мог в лимбе своего Ада только издали восхититься тенью l'altissimo poeta, Гомера, то в среде интеллектуалов кватроченто это уже становилось нормой. В Каредже Лоренцо под руководством Марсилио Фичино постигал платоновское учение, свое восприятие которого он затем воплотил в философской поэме «О высшем благе» («De summo bono»). Параллельно с научными занятиями юный Лоренцо проходил и «школу» политики, присутствуя при всех церемониях, самостоятельно принимая послов и делегации. Его безмятежной жизни пришел конец со смертью деда: молодой человек должен был принять на себя государственную власть и управление банками, всё бремя забот и ответственности. Но сейчас, в окружении ученых и поэтов, в лучах великолепия произведений искусства, при богатейшем

собрании книг и рукописей постоянно пополнявшейся медичейской библиотеки, в нем не могла не зародиться страсть к искусству, не только как собирателя и «куратора», но и как самостоятельного, самобытного творца. Способности Лоренцо проявились в области литературы. Ранние его стихотворные опыты, преимущественно в форме сонета, соответствовали классическим канонам итальянской лирики, идущим еще от конца XIII века, от так называемого направления «новый сладостный стиль». Лирическое «я» автора складывалось через подражание Петрарке. Именно как певец любви воспринимался Лоренцо своими современниками на протяжении всей творческой деятельности. Своей музой Лоренцо избрал знатную флорентийскую даму Лукрецию Донати (1447–1501). Поклонение ей, как можно предположить, было чисто платоническим, и Лукреция с полным правом приравнялась к «прекрасным доннам» Беатриче, Лауре и Фьяметте. Лоренцо было шестнадцать, когда восемнадцатилетняя красавица Лукреция вышла замуж за Николо Ардингелли, а сам он не мог на ней жениться, потому что был связан семейной договоренностью на династический брак с Кларисе Орсини. Следуя Петрарке, Лоренцо наполняет свои сочинения

образами жестокого лучника Амора, любовного пламени и томления, вздохами, слезами, идущими из сердца, очами-светилами и т. п., свободно использует весь накопленный итальянской поэзией арсенал риторики и привычных мифологических сюжетов. Не стоит этому удивляться: петраркизм оказывал громадное влияние на лирику, главенствуя в ней в течение нескольких столетий, и не только в Италии, но и далеко за ее пределами.

Конечно, в ранних его стихах можно отметить искусственность литературных построений, обилие штампов, однако чувство меры поэту никогда не изменяло, и его стихи, по сути проникновенные лирические зарисовки, не лишены блеска. К середине 1470-х годов у Лоренцо уже скопилось достаточно материала, и он, по примеру Петрарки, собирает свои стихотворения в единый свод «Canzoniere». Всего в «Книгу песен» Лоренцо включено 150 сонетов, 9 канцон, несколько секстин и баллата.

Также к ранним его произведениям относится эклога «Коринто» (1465). Считалось, что под этим именем Лоренцо изобразил себя самого, а под маской прекрасной нимфы Галатеи скрывалась Лукреция Донати, поэтому у произведения было

и второе название «Влюбленность Лоренцо Медичи». Жанр эклоги тогда еще не достиг такой популярности, как в XVI веке, когда появились классические его образцы на «народном» языке — «Аркадия» Якопо Саннадзаро и «Пасторали» Маттео Боярдо. «Ученые» эклоги Данте и Петрарки еще сугубо в традициях Вергилия и написаны на латинском языке. Но на пороге Высокого Возрождения на буколику стал оказывать существенное влияние народный поэтический фольклор, значительно удалив ее от классических античных образцов. Так пастораль обрела народный язык, в чем была немалая заслуга и нашего автора. В «Коринто» Лоренцо еще сильно зависит от лирических штампов, но вместе с тем стремится придать своему герою и реальные, земные черты. Коринто, после пространного восхваления своей возлюбленной и жалоб на ее неприступность, говорит: «Не белолицый, но не хилый ведь,/Да я пастух не робкого десятка!/ А кто не смугл, тот лучше, мне ответь?» В этих его грубоватых и не вяжущихся с прежней изысканной риторикой словах выражено чувство собственного достоинства, индивидуальности. Здесь уже типично ренессансная концепция. Далее пастух расхваливает свои достоинства,

упоминая и о победах (убийство медведицы, первенство в поэтическом состязании), и о своем богатстве. Коринто свободный пастух, у него свой дом и хозяйство с прекрасным садом и пасекой, он не зависит ни от кого и, безусловно, уверен в любовной победе. Напомнив избраннице о быстротечности времени и недолговечности земной красоты, Коринто-Лоренцо заканчивает свои излияния однозначным призывом: «Сорви же розу, ведь еще не поздно», и эта сентенция, пожалуй, как ничто лучше отображает духовную свободу эпохи Возрождения.

Эклога «Аполлон и Пан» написана на мифологическую тему. Аполлон, бог красоты и искусства, убивший циклопа Стеропа из мести за своего сына Фаэтона, по приговору отца богов Юпитера отправляется во временное изгнание на землю, в живописные края греческой Фессалии. Здесь он скрывает свою божественную сущность, приняв обличие пастуха. Аполлон влюбляется в местную нимфу Дафну, посвящая ей сладостные песни на своей кифаре. Произведение открывается красочным описанием фессалийской природы, реки Пеней и долины Темпе, в котором отчетливо просматривается любовь Лоренцо к родным тосканским пейзажам. Аполлон принимает вызов

состязаться в пении от бога Пана. У читателя, хорошо знакомого с греческими мифами, может возникнуть ассоциация с трагическим поединком между Аполлоном и сатиром Марсием. Пан также, как и сатир, со своей свирелью-сирингой олицетворяет земное начало в сравнении с началом небесным в образе Аполлона. Но никакого трагизма у Лоренцо нет. И Аполлон, и Пан посвящают своим возлюбленным — Дафне и Сиринге — равно витиеватые, равно гладкие песни; для передачи чувств обоих разнородных персонажей автор использует риторику. Исход поединка нам неизвестен: окончание эклоги либо не было создано, либо утеряно.

К «Аполлону и Пану» примыкает, также, к сожалению, не оконченная, но гораздо более интересная мифологическая поэма «Любови Венеры и Марса» («Amori di Venere e Marte»). Любопытна сама форма изложения (диалог), восходящая к «Разговорам богов» Лукиана. Здесь Лоренцо уже мастерски владеет стихом, бегло, но четко обрисовывая характеры персонажей и их чувства. Полная страсти, в ожидании своего любовника Марса, Венера призывает Ночь скорее сойти на землю, а Луну, богиню Диану, удалиться в лес для охоты, тем самым лишая

«веселую ночь» света. Марс, входя в ее опочивальню, произносит не менее страстный монолог, впечатляющий своим эротизмом («…я целую этот рот и нежное чело, два небесных светоча и белую грудь, и тонкую руку, полную всяческой красоты»). Монолог Марса внезапно обрывается, и на воображаемую сцену выходит бог Солнце. В своей речи Солнце остерегает Венеру («часто великое наслаждение оборачивается великой бедой») и призывает нимф, звезды и луну быть свидетелями прелюбодеяния. Вернувшийся из кузницы супруг Венеры Вулкан задумывает жестокую месть жене и ее любовнику («тяжкая вина заслуживает великого урока»), и на этом поэма обрывается. Нам неизвестно, почему Лоренцо не придал своему произведению, столь многообещающему и яркому, окончательный вид, оставив его во фрагментах. Но поэту было свойственно быстро охладевать к своим замыслам, сколь бы великолепными они не были, оставляя их ради воплощения новых или попросту отвлекаясь на насущные дела. К прежнему он, как правило, не возвращался, отсюда и обилие у него неоконченных и недоработанных произведений. Однако этого принципа он придерживался только в поэзии, отнюдь не в делах государственных и

банкирских.

Возмужание Лоренцо и в жизни и в творчестве произошло быстро.

В юности, ни в чем не зная ограничений, Лоренцо сполна отдается сладострастности своей натуры. Показательны отзывы о нем знаменитых писателей. Макиавелли: «чудесно погружен в любовные дела» («nelle cose veneree maravigliosamente involto»); Гвиччардини: «сладострастный и весь захваченный любовью» («libidinoso e tutto venereo»). Если куртуазная традиция обязывала молодого Медичи изображать себя обожателем прекрасной дамы без всякой надежды на ее взаимность и выступать под знаменем с ее изображением на рыцарском турнире, как было в 1469 году на площади у Санта-Кроче, то в реальной жизни он что называется «гулял напропалую». Вокруг Лоренцо образовался довольно тесный круг его друзей, называемый им «бригада» (brigata). Они разделяли с ним все забавы, с ними он мог быть вполне откровенен, для них он и писал свои произведения. Во время бесшабашных гуляний и конных поездок по землям цветущей Тосканы Лоренцо вдоволь наслаждался любовью сельских красавиц, а расцвет женской красоты, как известно, в Италии считался в пят-

надцатилетнем возрасте. Лоренцо был хорошим семьянином, его жена Клариче исправно рожала ему наследников, но и своих случайных подруг он тоже не забывал. Вполне естественно, что в ходе этих «сближений» с народом, Лоренцо не мог не замечать особенностей речи, обыкновений, образа мыслей простых людей. К тому же немалую ставку в своей политике Медичи делали на народ.

Свое известное произведение, идиллию «Ненча из Барберино» (1468), он пишет на народном наречии от лица наемного работника, эдакого простака, Валлеры. «Ненча» в европейской пасторали сыграла переломную, новаторскую роль: уйдя от книжной условности, сельский мир в ней принял свои реальные, несколько гротескные, но верные очертания. Вся поэма представляет собой объяснение в любви пастуха Валлеры к красавице Ненче (Лауренсии), родом из небольшой тосканской деревеньки. Поток неудержимого «красноречия» крестьянина внезапно прерывается — его зовет домой хозяйка Маза, и ему нужно отвести в загон стадо и готовить виноградное сусло. Всего лишь три года отделяет «Ненчу» от «Коринто», но язык и приемы в творчестве Лоренцо за это время заметно эволюционировали.

Образ влюбленного Валлеры, предлагающего непреклонной красавице нехитрые подношения (фрукты, белила, булавки и т. п.) и восхваляющего ее на все лады, в высшей степени трогателен и вместе с тем комичен. Так, среди многочисленных комплиментов и восхищений ее красотой он сравнивает белые крепкие зубы Ненчи с зубами кобылы, а нежность ее тела с жирком теленка. Здесь и меткая пародия на любовную лирику, и умение автора легко перевоплощаться в человека из в общем-то чуждой ему среды. Лоренцо явно подсмеивается над своим героем, но это лишь благодушная ирония, которая должна была в очередной раз повеселить бригаду. Поэма не лишена и некоторой грубости, натуралистичности, свойственной для комической поэзии того времени. Это сближает «Ненчу» с бурлеском и творчеством Луиджи Пульчи. Здесь, впервые в крупном произведении, Лоренцо использует октаву, классические образцы которой даны еще Боккаччо. Позднее эта форма в эклогах и идиллиях уступит место терцине, став основной строфой эпических поэм. Существует несколько вариантов поэмы (до семи), отличающихся количеством строф (от 20 до 51) и их очередностью. Внутри октав в разных редакциях есть небольшие разночтения. Так,

например, в одном из вариантов ради звучной рифмы и красного словца сказано, что Ненча «красивей, чем сам папа» («più bella che non è um papa»), в основной же версии опасная ирония смягчена заменой на нейтральную «мону Лапу». Ради рифмы и комического эффекта Лоренцо использует изысканные и заведомо абсурдные сравнения, например, «пригожей…мухи, чьи в сиропе вязнут лапы, и уховертки, вползшей на инжир». Некоторые строфы не получили своей окончательной обработки, в них явно страдает техника стиха (неточные рифмы, повторы тематики прежних строф), создается впечатление, что эти строфы были присочинены кем-то другим, не столь искушенным в поэзии, как Лоренцо. В современных итальянских изданиях, да и в переводах на другие языки, поэма публикуется в кратком виде, в двадцать октав, без строф непристойного содержания и поэтически несовершенных. В таком виде ее легко можно размещать в различных антологиях старинной итальянской поэзии. Однако установить, какую редакцию поэмы автор считал окончательной, вероятно, невозможно, поэтому в настоящем издании читателю предлагается оценить это творение в полном объеме. «Ненча из Барберино»

вызвала целую волну поэм подобного содержания. Первым ее пародировал Луиджи Пульчи, но в его «Беке из Дикомано» (1473) грубоватый комизм доходит до откровенного фарса.

Наряду с женщинами и поэзией в досугах молодого флорентийского правителя была и третья, не уступающая им, страсть — охота. В развлечениях бригады охота играла важную роль, имелись все условия для этого. Лоренцо предпочитал соколиную охоту как поистине королевскую забаву. Его соколиному двору могли бы позавидовать многие монархи. Причем тренировкой ловчих птиц и уходом за ними занимался сам Лоренцо, а сокольничие и псари были у него в большой чести. Не оставлял он своим вниманием и гончих псов, имена которых обессмертил в следующей поэме «Соколиная охота» («La caccia col falcone»). Незатейливый сюжет поэмы ограничен одним днем из жизни бригады. После красочного, мажорного описания раннего летнего утра Лоренцо сразу переходит к действию. Звук рога призывает его самого и друзей на птичью охоту, и вот выводят горячих, заждавшихся коней, привязывают на сворки псов; суетятся псари (канатьеры) и сокольничие; звук рога смешивается с громким лаем своры. Всё с необыкновенным задором и

лаконичностью вмещено в рамки всего лишь трех начальных октав. И вдруг неожиданный пассаж: четвертая октава почти полностью состоит из прозвищ собак, участвующих в охоте. Их 25! И не стоит сомневаться: эти псы реальные любимцы Лоренцо, особенно у него в почете старый Счастливчик (Buontempo). По мере развития действия мы встречаем многих из этих четвероногих, у которых заботливый автор постарался даже выписать определенные черты характера. Такой прием, безусловно, ассоциируется с традицией перечислений войск и племен в эпических поэмах, начиная с «Илиады» Гомера. Действительно, «Охота» может восприниматься и как пародия на героический эпос, а пародия в творчестве Лоренцо этого периода занимала первое место. Поэма написана в специфическом жанре фроттолы — короткого юмористического рассказа, байки, облеченной в поэтическую форму. Фроттолы принадлежали к комико-реалистическому жанру и писались, как правило, с большой примесью народных выражений. Уже в пятой октаве мы знакомимся с героями: это люди из ближайшего окружения, которым Лоренцо и адресовал свою «Охоту». Дальше весь сюжет распадается на ряд комических эпизодов, произо-

шедших с отдельными персонажами. Всё пестро, живо и красочно. Вот Дониджи, видимо, еще не окончательно отошедший от попойки накануне, сонный, падает с коня в овраг прямо на своего ястреба, помяв тому крыло и бок; рассерженная птица пыталась атаковать обидчика, но тот с досады сел на нее и «сплющил в блин». Луиджи Пульчи (тоже персонаж поэмы) не попал на охоту, потому что ему пришла в голову «фантазия» сочинить сонет, и он заплутал в роще, а некий Носач высморкался так, что распугал стоявших коней. Впечатляет и баталия двух сцепившихся ястребов, повлекшая за собой ссору их хозяев, и ловкость старой куропатки, оставившей без перьев незадачливого ястребка. На «сцену» выступает и суровый Строццо из рода Строцци, прежде могущественных противников Медичи. Одна из октав состоит полностью из охотничьих криков и команд, как будто Лоренцо передает акустическую запись с места событий. День малоудачной охоты заканчивается веселой пирушкой и примирением враждовавших. Тема охоты в итальянской поэзии не была нова. Достаточно вспомнить, что первой поэмой Боккаччо была «Охота Дианы», где маски охотниц-нимф носят светские дамы Неаполя. Но именно Лоренцо

передает весь накал страстей охоты так, что мы всё воспринимаем как вживую, как будто присутствуем при всех описываемых событиях. И в этом, кажется, есть высшее достижение его зрелой поэзии. Он использует «камерную» лексику, где нет риторики, а вместо нее царит необыкновенная гибкость, красочность народного языка. О прежней «искусственности» Лоренцо здесь нет и речи. Думается, не прав был нобелевский лауреат Джозуэ Кардуччи, обвиняя эту поэму в малосодержательности.

Вершиной пародийного искусства в творчестве Лоренцо явилась последняя из его комических поэм — «Пир, или Пьяницы» («Simposio, altrimenti i Beoni»). Датировка ее спорна, возможно, замысел относится к 1469 году. Это довольно язвительная пародия на «Божественную комедию» Данте и «Триумфы» Петрарки, уникальный пример травестирования обеих поэм. «Пир» изобилует скрытыми реминисценциями и намеками в таком количестве, что можно в нем видеть целую мозаику из слов и выражений классической литературы. Сюжет снова несложен. Возвращаясь из Кареджи, где провел лето, автор у ворот Флоренции встречает несметную толпу людей, спешащих куда-то. На его вопрос один из толпы,

в котором Лоренцо узнает своего друга Бартолино, сообщает, что все бегут в Рифреди, пригород Флоренции, чтобы там, в таверне у Джаннесси, пить вино, и берется рассказывать о каждом. Таким образом, Бартолино принимает на себя роль проводника, Вергилия. А в пятой главе (капитоло) его заменяет сер Настаджо Веспуччи, отец знаменитого мореплавателя Америго. Первый «проводник» или, подантовски, «вождь», несовершенный, т. е. рассказывает сбивчиво и торопливо, боясь опоздать на попойку. Между тем Настаджо лишен таких недостатков и может гротескно олицетворять Беатриче, проведшую Данте через сферы Рая. В ходе действия, которого и нет как такового, перед читателем проходит огромная вереница шаржированных персонажей: политиков, чиновников синьории, нотариусов, ученых, богословов, священников. Всё это реальные люди, занимавшие важные посты, настоятели богатых приходов, представители знатных фамилий. Смеяться над ними было бы далеко не безопасно, но только не для Лоренцо Медичи. Правда, он зачастую называет их по прозвищам, но так, чтобы в бригаде знали, о ком идет речь и на что дан тот или иной намек. Большинство таких прозвищ и намеков иссле-

дователями до сих пор не расшифровано. Здесь люди искусства и науки: Марсилио Фичино под маской Ачинуццо («виноградинка»); великий художник Боттичелли, чье прозвище, под которым он вошел в историю, означает «бочонок»; «приятель» Анджело Полициано и другие. Изображая своих героев закоренелыми обжорами, пьяницами, людьми недалекого ума, Лоренцо не прибегает открыто к морализаторству, его цель позабавить читателя, но за этим добродушным тоном мы можем легко ощутить весь ужас и отвратительность чревоугодия и пьянства. По мере действия пьяницы как бы разоблачаются, представая нам со всевозможными увечьями, припадками, идиотизмом. Целая галерея уродов. Некто Скассина «до подбородка и ноздрей / Распялил губы, как в огне недуга» — прямая отсылка к раздутому чудовищной водянкой фальшивомонетчику Адамо, встреченному Данте в одном из кругов Ада. Подвижный и дряблый зад пастыря Леонардо (кстати, облеченного высоким духовным саном в те годы) напоминает трубу, что, в свою очередь, Данте приписывал одному из бесов. Важный Строццо издали кажется автору башней, а от его голоса у слушателей закладывает уши, как от близкого колокола или шума нильских

водопадов. Перечень можно продолжить. Многочисленные чудеса из «Божественной Комедии» в пародии имеют необычное отражение: плевок одного из пьяниц на глазах у героев превращается в… лягушку. Сама метаморфоза передается через реминисценцию из Лукреция и Овидия, описывавших такими словами сотворение мира. Но, издеваясь над духовенством, экспериментируя с двойным смыслом и языком, Лоренцо идет дальше. Особое место в поэме занимают дерзкие переклички со Священным Писанием, столь пугавшие прежде издателей, что они, как правило, заменяли их многоточием. Слова Иисуса, обращенные к самарянке: «всякий пьющий воду сию, возжаждет опять» в устах пьяницы применяются к вину. С тем же смыслом звучит и «жажду!» (в оригинале латинское «sitio!»), произнесенное Спасителем на кресте. Божественное и грешное соседствуют в утонченной игре слов: «divin» (божественный) и «di vin» (относящийся к вину). Привлекает внимание язык поэмы. По-дантовски вычеканенные терцины изобилуют оборотами, идиомами народной речи. Именно за этот «низкий штиль» через несколько столетий некоторые классицисты будут упрекать автора «Ада». Те или иные словосочетания, фразы Данте Лоренцо

подает комически, уже с новым смыслом, в новом ракурсе, приноравливая высокое к низкому. Пестрота стиля, поистине, великолепна. При переводе поэмы болезненно ощущалось даже малейшее упущение авторской мысли. Исключительное богатство русского языка позволило свести такие потери к минимуму. Например, идиоматический оборот «poi come 'l finocchio» в ту эпоху мог означать «придти поздно, пропустить что-либо», по-русски ему соответствует «придти к шапочному разбору», что применено нами. Точность канонического перевода «Божественной Комедии», выполненного М.Л.Лозинским, дала нам возможность сохранить большей частью текстовые переклички обеих поэм, передавать скрытые цитаты и заимствованные слова. К финалу шутки Лоренцо становятся грубее, сравнения резче, и на весьма пикантном эпизоде поэма внезапно обрывается, как будто кто-то из рьяного благочестия вырвал последние страницы рукописи. «Пьяницы» остались не завершенными: даже до обещанного в заглавии пира автор не дошел. Но и в таком виде поэма уникальный памятник бурлеска, умножающий славу ее создателя.

Между тем реальное положение дел в Тос-

канском государстве, власть и попечение над которым Лоренцо принял по прошению народа и членов синьории сразу после смерти отца, было не столь безоблачным и радужным, как могло бы показаться на первый взгляд. Перед Лоренцо стояла основная задача сохранить мир в республике, оградить ее от внешних бурных событий, как бы мы сказали сейчас, выбрать правильный политический курс. Теперь всё бремя ответственности лежало на нем одном. В начале 1470-х годов Лоренцо вникал в государственные дела, и его муза в это время молчала. Более важные, глобальные проблемы и задачи постепенно превращают прирожденного банкира в абсолютного правителя, «государя» макиавелливой теории, которой в ту пору еще не существовало. Он закалял в себе необходимую твердость, решительность. Необходимость проявления волевых качеств не заставила долго ждать: в 1470 году Лоренцо жестоко подавляет восстание в тосканском городке Прато, казнив многих зачинщиков смуты. Прато упоминается в «Ненче», а в «Пьяницах» это всего лишь место забавного происшествия с одним из персонажей. Но поэзия одно, а жизнь другое. Через год такие же жесткие меры он был вынужден применить против Вольтерры, когда

подавление восстания обернулось кровавой резней в городе, учиненной его войсками. Власть Медичи все-таки была тиранией. Волей-неволей Лоренцо приходилось участвовать в сложных играх внешней политики, налаживать отношения с Миланом и Венецией, отстаивать свои интересы в противостоянии с королем Неаполя. Но самым могущественным скрытым его врагом стал Сикст IV, в августе 1471 занявший папский престол в Риме. Открытого противостояния у Медичи с папой, разумеется, не было. Лоренцо в сентябре того же года в составе дипломатической миссии отправился в Рим к нему на поклон, был принят милостиво и приобрел для своей коллекции произведения искусства. Однако на прочный союз со святейшим ему рассчитывать не приходилось. Впоследствии понтифик благоволил к Неаполю, очевидно, не доверяя Медичи. К 1474 году вражда с Римом на почве финансовых интересов обострилась. Сикст IV оказал покровительство флорентийскому банкирскому дому Пацци, что не могло не вызвать у Медичи гнева, так как Пацци находились в зависимом от них положении. Лоренцо провел ряд карательных мер по отношению к соперникам. В результате чего Франческо де Пацци, заручившись поддержкой

многих недовольных политикой Медичи, организовал заговор против братьев с целью убийства обоих. Папа втайне одобрил план низвержения по его мнению узурпаторов Флоренции. Их место должны были занять Пацци и кардинал Джироламо Риарио, племянник папы. 2 мая 1478 года произошло покушение на Лоренцо и Джулиано в соборе Санта-Мария дель Фьоре при большом стечении народа. От кинжала Пацци пал двадцатипятилетний Джулиано, Лоренцо же успел дать отпор убийцам (двум монахам), по примеру Юлия Цезаря заградившись широким плащом, и был легко ранен. Заговорщики были казнены, сам Пацци повешен на оконной решетке Палаццо Веккио, а его родственники, не участвовавшие в заговоре, высланы с конфискацией имущества. Бежавший в Константинополь один из убийц, Бернардо Бандини, был выдан султаном по прошению Лоренцо и разделил участь Франческо Пацци. Повешенного, его зарисовал Леонардо да Винчи.

Лоренцо устроил пышную церемонию похорон брата. Скорбь о нем открытого отражения в его поэзии не нашла. В творчестве он намеренно абстрагировался от событий действительности. Двумя годами ранее на смерть возлюбленной

Джулиано, прекрасной Симонетты, скончавшейся в возрасте двадцати трех лет от чахотки, он всё же написал четыре сонета. Чахоткой, кстати, страдала и жена Лоренцо, Кларисе. Так в «Книгу песен» вошла тема смерти. И, может быть, тогда родился сонет с убийственно горькой истиной в конце:

Всё мимолетно здесь, всё легковесно,
Фортуна злоковарна, ненадежна,
И только Смерть незыблема одна.

В те годы им была создана философская поэма «О высшем благе». В ней отразилась мечта правителя-поэта о мирной созерцательной жизни в единении с природой; бегство души «от гражданских бурь к более спокойной жизни», в мир мудрости и фантазии. В начале поэмы автор выводит себя под именем Лавра и ведет диалог с пастухом Альфео о преимуществах и недостатках жизни городской и сельской. Это вполне согласуется с традицией буколики. Однако дальше произведение принимает форму стихотворного трактата: спорящие встречают Марсилио Фичино, и тот излагает им свои воззрения о «высшем благе». Поэма изобилует цитатами и реминисценциями из поэтической классики и трактатов

Фичино, она знаменует начало нового, зрелого, этапа творчества Лоренцо.

В конце 70-х и в начале 80-х годов он работает над двумя значительными произведениями: стансами «Леса любви» и прозаическим «Комментарием к некоторым моим сонетам». «Леса» — изысканный гимн платонической любви, очередной памятник в честь Лукреции Донати. Как в сонетах, в стройных октавах здесь поэт излагает душевные чувства и переживания влюбленного с обязательными обращениями к античной мифологии и цитатами из Данте и Петрарки. Крупные произведения ему давались с трудом, посему и стансы он закругляет несколько искусственно. Нарушается симметрия, соблюдение которой требовала ренессансная эстетика. Так, первый «лес» включает 141 строфу, а второй только 30; правда, каждая кантика поэмы завершается мадригалом. Сам жанр «лесов» заимствован у римского поэта Стация (I век н. э.), озаглавившего сборник своих стихотворений на случай «Silvae» (лат. «леса») в значении «смесь». Книга Стация, манускрипт которой был обнаружен флорентийским гуманистом Поджо Браччолини, как новинка, оказывала большое влияние на поэтов, Полициано назвал так одно из своих латинских сочинений.

Разбирая свои сонеты и компонуя «Книгу песен», Лоренцо не мог не выделить те, которые он счел бы наиболее удачными; в большинстве своем это были сонеты, написанные в зрелые годы. Очевидно, у автора накопилось к тому времени много размышлений и воспоминаний, связанных с этими стихами, которые он пожелал выразить философской прозой. Так, можно предположить, возник у него замысел «Комментария». Здесь Лоренцо не был самостоятелен. Образцы, на которые он опирался — «Новая жизнь» и «Пир» Данте. Всего даны комментарии к 41 сонету. Произведение предваряется обширным прологом, из которого, в качестве иллюстрации взглядов автора на литературу, приведем следующую выдержку: «Данте, Петрарка, Боккаччо, наши флорентийские поэты, в своих серьезных, сладостнейших стихах и речениях ясно показали, с какой великой легкостью на этом языке можно выражать любые чувства. Ибо кто читает «Комедию» Данте, находит в ней множество предметов теологии и естества, изложенных с большой гибкостью и легкостью; находит еще много замечательного в этих трех категориях стиля, заслуживающих похвалы от ораторов, сиречь, простом, среднем и высоком; таким образом, в одном только Данте заключено

абсолютное совершенство, какое есть у различных авторов, как у греческих, так и у латинских. Кто будет отрицать, что у Петрарки обретается единый стиль, серьезный, остроумный и сладостный: эти любовные стихи переполнены такой торжественностью и красочностью, какой, несомненно, не встретишь у Овидия, Тибулла, Катулла и Проперция или у какого-нибудь иного латинского автора? Канцоны и сонеты Данте так величественны, утонченны и роскошны, что кажется, будто их не с чем и сравнить. О прозе и растворенных в ней речениях тот, кто читает Боккаччо, мужа ученейшего и достойнейшего, легко будет судить, что она необычайная и неповторимая в мире не только по своей занимательности, но и по щедрому красноречию автора. Рассуждая о его «Декамероне», о разнообразии материи, подчас серьезной, иногда средней и временами низкой, содержащей все потрясения, которые могут случаться с людьми от любви, ненависти, страха и надежды, столько новых ухищрений и выдумок; показывающей все характеры и страсти людей, какие только есть в мире, — без спора заключишь, что никакой другой язык лучше нашего этого не выразит».

Так, витиеватой прозой обосновывается выбор

языка для трактата: именно итальянский, а не латынь. Казалось бы, очевидно, что сонеты комментировать нужно на том языке, на каком они написаны, но для данной эпохи выбор языка для подобного рода сочинений был еще принципиальным вопросом. Лоренцо решает его, следуя авторитету Данте, в пользу родного языка. Его взгляды на литературу мало отличаются от нынешних, а насколько Лоренцо понимал тонкости стиля классиков, прекрасно видно из всех его сочинений. Только в XIX веке были обнаружены две новеллы Лоренцо, написанные в стиле Боккаччо, «Джиневра» и «Джакопо».

Постепенно жизненные силы покидали Лоренцо, сказывался наследственный недуг — подагра, острые приступы которой лишали его прежней подвижности и бодрости духа. Он ищет утешения в градоустройстве, искусстве и музыке: дает заказы на возведение зданий, роспись храмов, живописные полотна (в том числе и молодому Леонардо), приобретает орган, содержит зверинец. Но меланхолия всё чаще давала о себе знать: на пороге сорокалетия он уже чувствовал себя стариком. Лоренцо впадает в несвойственную ему прежде религиозность. Духовные стихи, которые с этого времени и до самой смерти будут

его всецело занимать, составляют отдельный глубокий пласт в позднем творчестве Великолепного. Здесь и капитоло (рассуждения в терцинах) о всемогуществе Господнем, и сонеты, и многочисленные баллаты духовного содержания, многие из которых были положены на ту же музыку, что и писавшиеся в эти годы карнавальные и танцевальные песни. Наконец, в 1490 году, он создает Rappresentazione sacra (мистерию) из времен Юлиана Отступника — «Представление о Петре и Павле». Как такового театра и драматического репертуара в Италии еще не существовало. Спектакли обычно ставились любительски при дворах вельмож и правителей, либо служили народным развлечением на карнавале и других праздниках, причем преобладали духовные драмы, поэтому мистерия Лоренцо вполне соответствовала вкусам эпохи.

Последним всплеском мирских удовольствий Лоренцо явились его знаменитые карнавальные песни, датированные 1490–91 гг., и «лебединая песня», поэма «Амбра». Эти произведения золотою страницей завершают его творческое наследие.

Карнавальные песни, как особый жанр, возникли впервые во Флоренции при Лоренцо

Великолепном. Полагают даже, что их основоположником явился он сам. Они обязательно перекладывались на музыку и исполнялись народом на праздничных шествиях и представлениях. На время карнавала привычные моральные устои как бы утрачивали свою силу, сама церковь, казалось, была не столь строга к мирянам, к тому же необходимо было забыть все тяготы минувшего поста. Это накладывало свой отпечаток на песни, популярные в народе, придавало им вольность, доходившую порой до непристойности. Признанным мастером карнавальных песен был Анджело Полициано, чьи творения в этом роде настолько безукоризненны и поэтичны, что затмевают многие песни самого Лоренцо. Однако сохранившиеся одиннадцать песен Великолепного по сей день признаются абсолютной поэтической классикой. Их можно разделить на два рода. К первому относятся песни от имени представителей различных ремесел. Пекари и кондитеры, садовники и огородники, торговцы мускусным маслом и благовониями расхваливают свой товар или искусство со скрытым эротическим смыслом. Все песни обращены к флорентинкам; автор как бы преподает им «науку любви» на время карнавала, давая такие

советы, от которых мог бы покраснеть сам Овидий. Песни второго рода исполнялись ряженными, изображавшими тех или иных персонажей. Разнузданность карнавальных нравов напоминала древние вакхические празднества, поэтому неудивительно, что среди ряженых флорентийцев были и те, что изображали бога вина Вакха с его хмельной свитой. Устройством карнавальных торжеств (как бы мы сейчас сказали, их сценарием) руководил Лоренцо. Его «Вакхическая песня» — непревзойденный шедевр гедонической лирики — может являться гимном целой эпохи, когда после веков мрака лучшие умы человечества вновь обратились к свету великого искусства и науки Древней Эллады. В соответствии с эпикурейской философией Лоренцо учит наслаждаться каждым текущим мгновением мимолетной юности, потому что «даль грядущего темна». Так, по замечанию де-Санктиса, «зарождалась среди танцев, празднеств и пиршеств» новая поэтическая культура.

Привкус меланхолии ощущается в «Амбре». Среди владений Медичи, на реке Омброне, располагался крошечный островок с поэтическим названием «Амбра», что в переводе означает «янтарь». Видимо, само его название привлекло

внимание хозяина этих мест, и он, уединившись со своим неразлучным Полициано в одном из имений, в короткий срок сочинил идиллию под таким названием. В ее основу лег овидианский миф, придуманный самим автором либо подсказанный ему другом, о любви речного бога Омброне к местной нимфе Амбре. Сюжет построен по античному шаблону: распаленный страстью бог гонится за целомудренной нимфой, которая, чтобы не достаться преследователю, милостью бессмертных превращается в камень. Очередная Дафна или Сиринга своим окаменением уподобляется Ниобе, что позволяет ей стать островом, который вечно обнимает своими водами неутешный Омброне. Действие начинается с 23-й октавы, а всего в поэме 48 строф. Таким образом, первая ее половина отведена под лирическое вступление. Открывается поэма описанием зимы. Именно так свое состояние тогда оценивал Лоренцо. Если «Соколиная охота» начинается с бойкого описания летнего утра, а «Пир» — осеннего дня с яркой деталью сбора винограда, то зима в «Амбре», несомненно, символизирует смерть, что подкрепляется еще картиной наступающей ночи. Вымышленным страстям героев противопоставляется глубоко переданное автором земное

страдание: строфы, посвященные наводнению, бедствию, столь актуальному для Тосканы, и не только для нее, вплоть до наших дней, поражают своей трагической выразительностью. В «Амбре» сказалось влияние Полициано: живописные картины в ней напоминают «Стансы на турнир».

Каков был Лоренцо на закате дней, лучше всего представить по портрету кисти Джорджо Вазари, написанному спустя почти полвека после кончины Великолепного. В его тяжелом, мудром взгляде, устремленном в самую глубь души, читается и гордость от всего сделанного им, и усталость мыслителя-поэта, облеченного безграничной властью.

* * *

«Тенью» Лоренцо назвал Полициано один из исследователей. Действительно, никто не пользовался таким доверием и расположением Великолепного, как его ближайший друг, писавший и импровизирующий на трех языках и бывший сам по себе замечательной фигурой зрелого европейского гуманизма.

Он родился 14 июля 1454 года в городке Монтепульчано, что на юге Тосканы, в семье юриста Бенедетто Амброджини. Отец предполагал пу-

стить сына по своим стопам, позаботившись об его образовании с ранних лет. Однако скучные пандекты мало привлекали юношу, навсегда пленившегося величественной латинской, а затем и греческой словесностью. Вергилий, Овидий и Цицерон стали его неизменными спутниками на всю жизнь. От латинского названия родного города образовал юный Амброджини свой звучный псевдоним. Полициано учился во флорентийском Studio у тех же учителей, что и Лоренцо, и тогда же был замечен отцом последнего, мессером Пьеро. Так произошло сближение двух поэтов и, несмотря на разницу в возрасте, их дружба продолжалась до самой смерти Лоренцо. Полициано несказанно повезло: он раз и навсегда обрел себе друга, единомышленника и могущественного покровителя в одном лице. Впоследствии он стал наставником старшего сына Лоренцо. Поэтому отнюдь не стоит осуждать Полициано за не в меру пышные похвалы, расточаемые им дому Медичи — это не заискивание, а вполне искреннее чувство признательности и благоговения перед меценатами. Не стоит приписывать возвышение Полициано сугубо покровительству Лоренцо. Он проявил такие незаурядные способности, что вскоре встал на один уровень

со своими недавними учителями, и они сами приходили послушать «гомеровского юношу», с кафедры страстно вещавшего о тонкостях языков классической древности. Столь же блистательно он освоил и древнегреческий, на котором писал стихи в малых формах. В двадцать шесть лет он уже профессор красноречия во Флорентийском университете, переводчик на латынь трех песен «Илиады» Гомера, комментатор и текстолог Аристотеля, Вергилия, Квинтиллиана и др. Латинское творчество Полициано обширно и многообразно, на нем лежит отпечаток филологических исследований. Так, в стихах и прозе он создает ряд литературных вступлений к комментируемым им авторам, и эти плоды его пера не лишены достоинств изящной словесности.

Наряду с научными заслугами Полициано хорошо вписывался во всю бесшабашную жизнь лоренцевой бригады. Тот называл его в своих стихах не иначе как «приятель» (comparon), и в этом видится признак особенной задушевности в их отношениях. Для прочих же поэтов медичейского круга, и прежде всего для Луиджи Пульчи, Полициано авторитетный арбитр в вопросах стихотворства и красноречия. Если его латинское творчество представляет сейчас в основном

только исторический интерес, то слава Полициано-поэта до нынешнего времени покоится на его итальянских песнях, «Орфее» и «Стансах». В отличие от многих современников, он не подпал под влияние петраркизма, а сочинял изящные страмботти (краткие стихотворения обычно в одну октаву), а также в большом количестве танцевальные, майские и карнавальные песни на народном языке. Поэзия, рождавшаяся «среди танцев, празднеств и пиршеств» и доступная для простого народа, служила политическим целям правителя: чем больше народ отвлекался на развлечения, тем меньше Лоренцо тревожился за непоколебимость своего господства. Полициано и в этом плане прекрасно соответствовал устремлениям покровителя.

В 17 лет, по заказу кардинала Франческо Гонзага, не без протекции Лоренцо Медичи, Полициано всего в несколько дней создает «Орфея». Пьеса предназначалась для представления при дворе герцогов Гонзага в Мантуе. Готовилось масштабное зрелище с костюмами и декорациями и требовалось написать речи для персонажей. Учитывая малое количество светских драм в то время (комические фарсы не в счет) и скудость уже имевшихся образцов, становится ясно,

что, создавая стихотворную пьесу на античный сюжет, Полициано был новатором. «Орфей» сымпровизирован блестяще: в 400 безукоризненных строк ему удалось вместить и красочную эклогу, и лирическую песнь, и латинский гимн в честь мантуанского кардинала, и краткие, емкие диалоги мифологических героев, в том числе, колоритных фурий, Плутона и Прозерпины, и песнь исступленных вакханок в финале. Действие в пьесе развивается стремительно, даже экспрессивно, каждой деталью автор угождает вкусам образованных людей эпохи. «Орфей» заложил основу и стал образцом светской драмы Ренессанса, вплоть до «Аминты» Торквато Тассо. Успех и признание молодому автору были обеспечены.

Знаменитые «Стансы» Полициано создавал спустя четыре года после «Орфея» буквально по горячим следам ярких событий в жизни двора Медичи. В последних числах января 1475 года на площади Санта-Кроче в дань средневековой традиции рыцарских турниров была устроена джостра. В ней принимал участие Джулиано, избравший дамой сердца юную красавицу Симонетту Веспуччи. Выступавшему под стягом с ее аллегорическим изображением работы Боттичелли, младшему Медичи, разумеется, присудили

победу в рыцарском поединке. К тому времени уже существовала традиция сочинения подобных поэм на случай: Луиджи Пульчи написал стансы в честь победы Лоренцо на турнире 1469 года. Перед Полициано стояла задача не только превзойти ближайшего предшественника, но и создать долговечный памятник всему великолепию эпохи, верным сыном которой он являлся. И в этом он преуспел. Несколько громоздкая и растянутая поэма Пульчи не могла соперничать с тем замыслом, который возник у великого импровизатора. Полициано предстояло воплотить в изысканных стихах всю свою лирическую утонченность, вооружившись мифологической эрудицией, знанием античных классиков, и создать памятник поэзии новой эпохи. Ведущей темой была избрана высокая любовь. Поэма представляет собой ряд живописных эпизодов, скрепленных между собой незатейливым сюжетом. Во вступлении автор как бы вскользь упоминает заслуги своего покровителя и намекает на собственные — важный для науки того времени перевод из Гомера. Джулиано вначале повествования предстает диковатым гонителем бога любви Амора и произносит риторическую инвективу против него, в идиллических нотах, с

грустью по утраченному Золотому веку. Далее, в противовес риторике, следует динамичное описание охоты, сделанное в угоду Лоренцо, к тому времени уже автора «Соколиной охоты». Как художник Полициано идет гораздо дальше предшественника — его мифологические метафоры придают охоте как бы тонкий аромат, представляя нашему воображению всю сцену более выпукло и ярко. Например, шум, производимый всадниками, сравнивается с топотом кентавров, несущихся по склонам древнего Пелиона или Гема. Чувствуется увлечение автора ученой александрийской поэзией. Мир поэмы — языческий, христианским реалиям в нем нет места. Симонетта, героиня поэмы, в первой части предстает нимфой, а по сути идеальной дамой куртуазной лирики, силой своей красоты пробуждающей в Джулиано то чувство, против которого он еще недавно восставал. Джулиано в эти мгновения проходит инициацию, которая в итоге должна была завершиться превращением его в идеального рыцаря. Такова месть Амора, и ликующий бог улетает во владения своей матери Венеры, дабы похвастаться победой. Здесь на нас буквально обрушивается поток описаний земного рая, тоже, кстати, языческого — Кипра, резиденции Венеры.

Описание ее садов, по примеру Овидия, предваряется воззванием к Эрато, музе любовной поэзии. После традиционного ряда аллегорических фигур и резвящегося «воинства» Венеры, маленьких купидонов, продолжается каталогизация красоты выразительным перечислением всевозможных видов цветов, деревьев, животных, птиц и рыб. Полициано не утомляет читателя/слушателя, а заставляет его смаковать красоту природы в мифологическом ракурсе. Создается впечатление, по замечанию русского исследователя Л. Баткина, что вся поэма была задумана ради *перечисления*, столь любимого античными поэтами приема.

Когда любования природой исчерпываются, Полициано готовит «новую волну», изображая дворец Венеры, описанию ворот которого уделено целых 23 строфы. Здесь он как будто задается целью переложить в октавы как можно больше сюжетов из мифологии, взяв за образец «Метаморфозы» Овидия, цитатами из которых пересыпан текст. Апофеозом выводится картина рождения Венеры, вдохновившая Боттичелли на создание живописного шедевра. Для автора чрезвычайно важны детали: так, он приковывает наше внимание к лепесткам роз, рассыпаемым купидонами над ложем любовников, Марса и

Венеры.

Через год после состоявшегося турнира, когда Полициано начал сочинять вторую часть «Стансов», двадцатитрехлетняя Симонетта умерла от чахотки. Сюжетная линия не могла не пострадать, но гибкий Полициано, поворачивает ее в нужное ему русло. Теперь красавица живет в воображении героя, на ней уже не наряд нимфы, а доспехи Минервы с ее страшным атрибутом — головой Медузы Горгоны. «Безжалостная донна», совершающая поругание над Амором, воплощает триумф Целомудрия в противовес триумфу Любви в первой части. Таким образом, «Стансы» перекликаются с «Триумфами» Петрарки, несомненно, превосходя их силой фантазии. Мрачные атрибуты изменившейся героини (голова Горгоны, змеикерасты) знаменуют появление новой аллегорической фигуры — Фортуны, темного Рока, губителя земной красоты. И дальше следует еще один, последний, триумф — Доблести над Фортуной. Череда аллегорий своей последовательностью должна была привести к развязке — собственно к турниру. Но рок воспрепятствовал замыслам поэта: восстание Пацци и убийство Джулиано выбило почву из-под его ног. «Стансы» утратили смысл, а завершать серию триумфов

торжеством Смерти их автор не захотел. Поэма так и осталась формально незавершенной, но ее замысел был исчерпан. Подводя итог, можно вспомнить Филиппа Монье, назвавшего октаву Полициано «легким и звучным инструментом, который будут подносить к своим губам Ариосто и Тассо».

* * *

Имя Луиджи Пульчи, крупного поэта Возрождения, русскому читателю, как правило, мало знакомо. Оказавший несомненное влияние на Рабле, восхищавший Вольтера и Байрона, «титан бурлеска» Пульчи почти не выходит за рамки италоязычной культуры — слишком своеобразно его творчество, слишком чуждым по духу кажется оно сегодняшнему времени, а язык даже для итальянского читателя малопонятен без специального комментария.

Луиджи происходил из знатного, но обедневшего старинного рода. Он родился во Флоренции 15 августа 1432 года. В семье Якопо Пульчи и Бриджиды ди Бернардо де Барди было пятеро детей. Старший сын Лука также был поэтом, его идиллию «Дриадео» иногда вспоминают исследователи. Младший, Бернардо, писал лирику,

теперь напрочь забытую. Как расцветал поэтический гений среднего брата можно только догадываться, так как проб его пера не сохранилось. Но, видимо, Пульчи сочинял стихи с ранних лет в избытке; он предстает нам сразу зрелым мастером, со сложившимся, отточенным стилем. Якопо прочил своих сыновей по финансовой части, с этой целью Лука был послан в Рим обучаться банковскому делу, обучался ему и Луиджи. Но конкурировать с Медичи было бесполезным делом, и финансовые дела семьи оставляли желать лучшего. Неудачливый банкир Лука умер в нищете.

Луиджи, положение которого не позволяло существовать без покровителя, в 1460 году состоял писцом и счетоводом при Франческо ди Маттео Кастеллани. А уже через год его «переманила» к себе Лукреция Торнабуони, оказавшая ему расположение. Так он стал вхож в дом Медичи, где ему суждено было провести лучшие годы жизни. К тому времени, когда Лоренцо и Полициано находились в нежном возрасте, а Пульчи достиг тридцатилетия, поэзия на народном языке, так называемом вольгаре, процветала благодаря щедрому меценатству Козимо и Пьеро Медичи. По заказу Лукреции, матери Лоренцо Великолепно-

го, Пульчи приступил к обработке популярной в Италии с XIII века темы о подвигах Роланда и других рыцарей Карла Великого. Традиция обязана своим происхождением кантасториям, уличным певцам-буффонам, сочинявшим поэмы о приключениях рыцарей, пересыпая их острым словцом и шутками в народном стиле с необузданными, часто нелепыми выдумками. Итальянские версии, возникшие на почве «Песни о Роланде» и других жест, только формально походили на свои французские образцы. Луиджи предстояло из этого громадного, но еще сырого средневекового материала создать первый ироикомический эпос Возрождения. Благодаря его стараниям традиция получила свое блестящее развитие и, через Маттео Боярдо, в следующем веке достигла совершенного воплощения у Ариосто. «Большой Моргант» был завершен в апреле 1468 года и разросся до небывалого размера — двадцать восемь песен, иные из которых включают по 200–250 октав. В его основе множество сюжетных линий, самая яркая — история двух сарацинских великанов Морганта и Маргутта, забияк и обжор. Гротескный мир пульчевских великанов напоминает «пантагрюэлизм» Рабле, однако влияние Пульчи на прославленного француза до сих пор,

кажется, достаточно не изучено. Каждая песнь начинается реминисценциями из Священного Писания. Открываясь библейским «Вначале было Слово…», поэма завершается страстным гимном в честь Богородицы, но вместе с тем многими современниками была сочтена кощунственной и подвергалась резкой критике. Прикрываясь маской народной буффонады, Пульчи выразил в ней всю широту своих взглядов и интеллектуальных пристрастий, проявляя интерес к магии, эзотерике, аверроизму, ветхозветным легендам. В уста демона Астаротта он вложил свое скептическое отношение к феодально-католическим устоям. Еретиком, чуть ли не атеистом, слыл Луиджи при жизни. Впрочем, такая репутация автора вполне соответствовала стилю бурлеска, великим памятником которого явился «Моргант». К сожалению, рамки статьи не позволяют нам углубиться в разбор поэмы, и остается надеяться, что подробное ее исследование и, главное, перевод в будущем обогатят русскую культуру.

Малые произведения Пульчи на протяжении веков меркли в лучах славы его грандиозной эпопеи. Только с 1759 года, когда вышло в свет издание Росси, в Италии появился массовый интерес к Пульчи-сонетисту, в каковом качестве его особо

ценил Лоренцо. Пульчи — непревзойденный мастер «хвостатого» сонета. Форма, характерная для комико-реалистического направления, в XV веке составляла, пожалуй, единственную весомую альтернативу петраркистским сонетам, привнося в лирику мощную реалистическую струю. К канонической форме в четырнадцать строк здесь прибавлялись дополнительные терцеты, число которых во времена нашего автора не превышало три. Позднее, у Франческо Берни, число «хвостов» возрастет. Форма существовала еще у поэтов «нового сладостного стиля», отдал дань ей и Данте, но родоначальником сатирического «хвостатого» сонета был народный поэт Доменико Буркьелло (1404–1448). Сын ткачихи и лесоруба, по ремеслу брадобрей, Буркьелло обладал веселым нравом, имел проблемы с правосудием и находился в сложных отношениях с Медичи, из-за чего на какое-то время даже бежал в Сиену, а затем в Рим, но задор его шуточных сонетов и их стиль покорили многих флорентийцев. Среди последователей «буркьелловой» школы были такие значительные поэты, как автор «Ямы в Монтефельтро» Стефано ди Фортегьерри по прозвищу Дза, Луиджи Пульчи и Маттео Франко. Последний носил духовный сан и был капелланом богатого

прихода Святого Михаила в Бисдомини. Пульчи и Маттео Франко состояли на службе у Лоренцо и были непримиримыми соперниками. Оба писали полемические, по сути ругательные, сонеты друг против друга. Разгар их знаменитой дуэли приходится на середину 1470-х годов. Пульчи, как и его оппонент, проявлял мастерство версификации, умело использовал приемы Буркьелло, в основном опираясь на взаимные оскорбления. Латинские цитаты из Библии и римских классиков, философские понятия, мифологические и исторические имена, употребленные в заведомо абсурдном значении, сплетены в один клубок с простонародными и жаргонными выражениями, детским лепетанием и непристойностями. Относительно последних Пульчи проявлял особую изощренность, дав тем самым целую коллекцию обсценных намеков и выражений, по которым можно изучать городской диалект XV века. В последующие века сочтут это пошлым и непозволительным, но на фоне эпохи (вспомним «Карнавальные песни» Лоренцо) такие вольности считались уместными. Буркьелловым абсурдом и шутовством прикрывал Пульчи свои нигилистические взгляды. Мишенью для язвительных его нападок и инвектив становились и

другие видные деятели, такие как Бартоломео Скала и Марсилио Фичино. В знаменитом сонете «Достопочтенный сыч…» Фичино предстает уродливой фигурой, напоминающей чудовищ Босха. Но и этим Пульчи не ограничивался: в сонете, обращенном к другу Пандольфо, метя в Фичино, он высмеивает неоплатоническое учение о душе, которому следовал Лоренцо. Сонет, адресованный путешественнику Бенедетто Деи, содержит нападки на религию, а в посвященном Бартоломео делл'Авведуто сонете лейтмотивом проходит тезис о том, что все ветхозаветные тексты лживы.

Лоренцо не сильно обременял поэта службой, однако часто поручал ему несложные дипломатические миссии. Во время путешествий по городам Италии Пульчи писал ему письма, являющиеся любопытными историческими документами и одновременно блестящими образцами эпистолярной прозы. В одном из писем содержалась двойная канцона Пульчи, в которой символически изображалась юношеская любовь Лоренцо к Лукреции Донати. Для наблюдателя и острослова Пульчи поездки в Рим, Милан, Пизу, Сиену, Неаполь и другие города не пропадали даром. В комическом плане он обрисовывает на

смех патрону нравы жителей. Так, неаполитанцы — воры и грязнули, опорожняющие ночные горшки на головы прохожим; сиенцы твердолобы; миланцы столь глупы, что предпочитают мясной кухне репу и салат и т. д. Для пущей убедительности автор стилизует язык сонетов под местные диалекты, зачастую коверкая, разбивая слова, подбавляя долю тарабарщины. Странствия по городам Италии приводят Луиджи в 1482 году в Венецию, центр книгопечатания того времени. Здесь анонимно он публикует «Морганта», правда, в сокращенном варианте, в 23 песнях. От прежнего, первого, издания поэмы ни одного экземпляра не сохранилось. Примечательно, что в списке книг личной библиотеки Леонардо да Винчи значится и «Моргант». В это же время обострился конфликт Пульчи с Марсилио Фичино. В 1484 г. Лоренцо отправил поэта в свите Роберто Сансеверино в объезд по своим провинциям. Простудившись по дороге, Пульчи умирает в Падуе от воспаления легких.

Католическая Церковь отомстила своему насмешнику только после его смерти: как еретик, он был похоронен в неосвященной земле.

* * *

Лоренцо Медичи, Анджело Полициано и Луиджи Пульчи внесли золотой вклад не только в итальянскую, но и во всю европейскую культуру, доказав, что национальная литература, созданная трудами гениев Данте, Петрарки и Боккаччо, не только жизнеспособна, но и подлежит развитию. Всё их творчество служило совершенствованию и раскрепощению жадной до познаний человеческой души в великую эпоху, которую по праву можно назвать великолепной.

Лоренцо Медичи

Сонеты

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Сраженный этим лучником мятежным,
Я принял в сердце первую стрелу
И не питал надежд, горя в пылу.
Смерть приравнял я к сладостям безбрежным.

Но не отрекся в возрасте том нежном
Я от Амора, нес ему хвалу
И покорялся радостному злу,
Гордясь таким уделом неизбежным.

Встал при твоем я знамени высоком,
Ты вмиг, Амор, меня пленил засим,
Что не послужит для других уроком.

Прошу я, сжалься над рабом своим,
Пусть донна гордая в огне жестоком
Познает, каково страдать другим.

Была пора, когда лучи Титана,
Труд годовой свершившего на треть,
Еще не раня, начинали греть

Тем жаром, что мы сносим невозбранно;

Когда и холм, и поле, и поляна
Могли цветами яркими пестреть,
И мне в листве случалось лицезреть,
Как Филомела плачет неустанно, —

Тогда, еще не испытав кручин,
Как Геркулес, что к жизни возвратился,
Поймал я мимолетный дивный взгляд.

Был сладостен и легок мой зачин,
Но вдруг я в лабиринте очутился,
И в нем горю, и нет пути назад.

Уже семь раз лучистая планета
Над миром путь свершила круговой,
Как я, лишенный солнца, сам не свой,
Не вижу ни сияния, ни света.

И тенью скорби всё во мне одето
Наместо прежней радости живой;
Амор казался ласковым впервой,
Но свирепел – я позже понял это.

Печальное начало у любви,
И я уже раскаялся в затее,
Но не могу спасти себя от бедствий.

Пылает факел в сердце и в крови,
И мой огонь час от часу лютее.
Так, действуя, не ведал я последствий.

Сонет, написанный, когда донна прибыла на виллу

Поля и виллы, вы, леса густые,
Плодовые деревья и трава,
Колючие терновники, листва
И вы, луга, где я любил впервые;
Холмы и горы темные, крутые,
Потоки, чья прозрачна синева,
Вы, звери и лесные божества:
Сатиры, фавны, нимфы озорные —

Диану перестаньте почитать,
Есть новая богиня в вашем царстве,
Что также носит и колчан и лук.

В зверей не станет стрел она метать,
Но, как Медуза, поразит в коварстве

И в камень превратит от горьких мук.

Глаза мои, лишенные светила,
Сиявшего целительно для вас,
Вы тьмой окутаны, ваш взор погас,
И век вам плакать в горести унылой.

Весна блаженная зимой постылой
Оборотилась вмиг; желанный час,
Который ждал я, обратился враз
Томленьем муки. Вот Амора сила!

Обманчивая сладость первых стрел,
Удар такой разительный и нежный
И первый приступ – всё казалось дивным.

Но вместо нег несчастье мой удел,
Срываюсь в пропасть я, во мрак кромешный,
Где мне пылать в страданье беспрерывном.
Блажен тот край, где у меня синьора
Руками сердце из груди взяла,
И злой, и доброй воле обрекла,

Где гибну я, но возрождаюсь скоро.

То муку шлет, то мне сама опора,
То радость на душе, то грусть и мгла,
Мятется сердце средь добра и зла:
Жизнь или смерть – всё жду я приговора.

И в том краю я видел, как, взошед,
Сияли два светила. Солнце в небе
Завидовало солнцу на земле.

Шесть лун сменилось, как мой бренный жребий
Его лишен был, но стремлюсь во мгле,
Как феникс, я за этим солнцем вслед.

Глаза мои не в силах выносить
Лица ее лучистого сиянья,
Для взора нестерпимо испытанье —
Ее ответный взор не уловить.

Но разум не преминет уяснить
Божественную суть ее призванья,
И что вовеки бренного созданья
Такой красе ответом не почтить.

Дитя небес, не дольняя жилица,
Даруя людям свой нетленный свет,
Средь нас проходит по земле она.
И всякая душа преобразится,
Ее узрев; лишь мне отрады нет:
Всем прочим мир, и только мне – война.

Мой утлый челн в ненастном море тонет,
Валами беспощадными тесним,
Отдавшийся пучинам роковым,
Под гнетом дум, надломленный, он стонет.

Нептун его к подводным скалам клонит
И не внимает жалобам моим,
И бездна разверзается под ним,
Но просветленье тьму из мыслей гонит.

Я вижу: свирепеет ураган,
Но у руля Амор с Фортуной встали,
Веля мне страх от сердца отрешить;

Спасения залог в надежде дан.
На разум полагаюсь, ведь едва ли
Его ненастья смогут сокрушить.

В часовне ты, нарядная, стояла.
Зерцалом совершенной чистоты
Красавиц древних побеждала ты
И нынешних; краса твоя сияла.

Судьба мне утешенье даровала,
Избавив от душевной пустоты,
И эти светозарные черты
Душа, как дар целительный, впивала.
Но я не выдержал, мой взор поник
Перед сияньем, кое самоцветам
Иль самым адамантам не чета.

Нарядная стояла, как мечта,
И я смутился, ослепленный светом,
Который излучал твой дивный лик.

Сонет, написанный в реджо,
когда я возвращался из Милана,
где узнал, что донна занемогла

Боялась громовержцева сестрица,

Что воспылает вновь ее супруг,
И Цитерея – что сердечный друг,
Ее свирепый Марс, другой прельстится;

Богиня чистая, лесов жилица,
Той донне позавидовала вдруг,
Что затмевает блеском всё вокруг,
С чем не смогла Паллада примириться —

Вдохнула хворь она в святую кровь,
Что недостойно благости премудрой.
О злая зависть, корень твой на небе!

Коль помнишь первую свою любовь,
То смилостивься, Феб золотокудрый,
И, если сможешь, осчастливь мой жребий.

Я полон вздохов, на душе разор,
Я полон дум различных и печалей,
По жизни я, не грезя о привале,
Бреду, куда велит мне мой синьор.
Фортуне не пойду наперекор,
Нескор мой шаг, уверен я едва ли,

Что рядом хоть когда-то сострадали
Тем мукам, что терплю я до сих пор.

Так вздохами, слезами неизменно
Вся жизнь моя питается, пока
Не будет Паркой нить пресекновенна.

Но хоть на сердце мука велика,
Двум светочам подвластен я смиренно
Той, коя от меня так далека.

Мечты, не уходите слишком скоро!
Куда вы? Я отраду в вас нашел.
Иду за вами, только шаг тяжел,
Но где мое пристанище, опора?

Здесь нет Зефира, не танцует Флора
И в пестроцветье не рядится дол:
Зима и глушь, и ветра произвол,
Застыли воды, мгла царит средь бора.

Меня вы покидаете, ушед
В давнишний кров, туда, где сердце пленно,
Я ж, одинок, во мраке остаюсь.

Бреду я слепо за Амором вслед,

Он две звезды мне дарит неизменно,
И я к иному свету не стремлюсь.
Сонет,
написанный об одном сне

Прекрасней и милее, а не строже
Явил Амор мою врагиню мне,
Когда вечор забылся я во сне,
От всех трудов найдя покой на ложе.

И созерцал я лик ее пригожий,
Суровости былой не видя в ней,
В лучах любви сгорал я как в огне.
Она иль не она, гадал я всё же.

Не смел ни слова молвить я сначала,
Представ пред нею, но желанье властью
Страх победило, я раскрыл уста:

«Мадонна...», но как ветром всё умчало.
Так в миг один стремительно, к несчастью,
Простыл мой сон, развеялась мечта.

Насколько тщетны наши упованья,
Какою ложью помысел чреват,
Насколько мир невежеством объят,
Покажет Смерть, царица мирозданья.

Тем любы песни, пляски и ристанья,
Те светлым благочестием горят,
В тех лютый гнев разлился, точно яд,
Те скрытны и не падки на признанья.

Всё тлен – заботы, мысли, имена,
Разнообразны судьбы, как известно,
И дольний мир исправить невозможно.
Всё мимолетно здесь, всё легковесно,
Фортуна злоковарна, ненадежна,
И только Смерть незыблема одна.

«О вздох любовный, сердцу расскажи,
Где обретешь красавицу драгую?
И новость передай мне хоть какую,
Коль посетишь ты эти рубежи».

«Ликуй, смягчиться сердцу прикажи.
Я роем сладких дум ей грудь волную,
Беседую с Амором зачастую

О благородстве нашей госпожи».

«Так истина ли то, что прозвучало?»
«Конечно, да». «Тогда еще ответь,
Где ты укрылся в сердце, не пойму?»

Вдруг ветром те слова мои умчало.
И на груди Амор поклялся впредь
Не возвращаться к сердцу моему.

Скажи мне, лучезарная звезда,
Светила меркнут пред тобой мгновенно,
Почто ты ярче, чем обыкновенно?
Иль спорить с Фебом есть тебе нужда?

Наверно, очи, кои навсегда
У нас отняты Смертью дерзновенной,
С тобой соединились во вселенной,
И гордый Феб вам уступил тогда.
Иль это, или новое светило,
Что свод небесный украшает ныне,
О боги, наш услышало призыв:

Поднявшись, свет столь чистый заструило,

Что очи, слезы лившие в кручине,
К нему стремятся, горести забыв.

Вслед солнцу, что спешит к черте закатной,
Потупит очи Клития, бледна,
И сетует на то, что лишена
Его живящей силы благодатной.

Когда же вспыхнет в дали необъятной
Предтеча Феба – радости полна,
К Авроре нежной тянется она,
Восход ее благословив стократно.

Но знаю я, что миру не вернет
Аврора это Солнце! Злая участь
Навеки облекла нас тьмой ночной.

Ты не узришь, о Клития, восход,
Тех солнц-очей смерть погасила жгучесть,
И поглотил их горизонт иной.

Я света в жизни больше не найду,
И эту жизнь нам смертью звать пристало,

В ее лице и смерть прекрасной стала,
Так боги умирают на беду.

Преобразилась в яркую звезду
Та, над которой смерть торжествовала;
К земным усладам не стремясь нимало,
Годов преступных длить мне череду.

Вздыхает сердце, слез глаза не прячут:
Лишился солнца этот дольний мир,
Лишилось сердце благостной надежды.

Со мной Амор и Грации заплачут,
Заплачет и Сестер парнасских клир,
И с ними чьи не увлажнятся вежды?

Где мне укрыться от воспоминаний?
В какой пещере обрести покой
От памяти, терзающей тоской,
Питающей огонь моих страданий?

Будь на цветущей радостной поляне,
Будь я под сенью зелени благой
Иль у ручья, я слезы лью рекой,

И чем же мне сдержать поток рыданий?

Коль возвращусь в родимое гнездо,
Из тысяч мук, от коих сердце сжалось,
Всех паче память жжет меня и гложет.

Что делать мне и уповать на что?
Лишь на одно: что смерть проявит жалость,
Но медлит смерть и мне едва ль поможет.

О горе мне! когда я перед нею,
Сей ангельский, сей несравненный лик
Мне сердце стужей иссушает вмиг,
Я, словно обескровленный, бледнею.
Но, созерцая донну, пламенею,
И вот отваги дух в меня проник,
В ее очах Амор обрел тайник,
Ведет меня слепой стезей своею.

«Клянусь тебе, – он часто говорит, —
Святым огнем очей ее прекрасных,
Владычеством своим и силой стрел,

С тобой пребуду нераздельно слит,
И узришь милость ты в чертах тех ясных».
Поверил я – он сердцем завладел.

Белейшею, нежнейшею рукой,
Где Купидона и Природы сила
Такое совершенство воплотила,
Что всё иное только прах земной,

Ты сердце извлекла из раны той,
Что нанесли мне дивные светила,
И вскоре сладкий яд проник мне в жилы,
Едва Амор пронзил меня стрелой.

Связала сердце тысячью узлами,
И лишь оно, тобой преобразясь,
Учтивым стало, ты порвала сети.

Учтивым стало, нет нужды сейчас
Пытаться их распутывать руками,
Едва ли что приятней их на свете.

Нередко силами воображенья
Картину встречи память оживит:

То место, время, и наряд, и вид
Красавицы, что лицезрел в тот день я.

Амор не позабыл сего виденья,
И он красноречиво подтвердит:
Скромна, честна, изяществом дивит,
Но что пред ней все наши рассужденья!

Как если Феб лучей распустит нити
Над снеговыми пиками хребтов —
Так и власы над белизной наряда.

О времени и месте не судите:
Там рай, где донна, я признать готов,
Где это солнце – вечна дня отрада.

К вам возвращаюсь, светочи, в приют
Красы нетленной, лучезарной силы;
Как в свете солнца прочие светила,
Так вами чистые сердца живут.

Неспешен шаг, и думы ум гнетут:
Одни живят надеждой легкокрылой,
Другие в дрожь бросают дух унылый:
Вдруг новости нежданные придут.

Амор мне: «Б сердце загляни свое,
Там написал последние слова я,
Что ты услышал, как узрел меня.

Презренье, гнев я отнял у нее,
Но сила солнца в той груди живая
Пылает жаром моего огня».

Джиневре Бенчи

I

II

Душа благая, следуй за порывом,
Что Бог в тебя вдохнул, ты не глуха,
Беги на сладкий голос Пастуха,
Овечку манит Он Своим призывом.

Гори же пылом сим благочестивым,
Не ведай гнева, зависти греха,
Дыши надеждой, коя не труха,
Во славе и спокойствии счастливом.

В святом безумьи сеешь неспроста
Свои благие слезы и стенания,
Ты после урожай сберешь, чиста.

«Populi meditati sunt inania»;
Внимай же, сидя подле ног Христа,
Как некогда Мария из Вифании.

Из Господом караемого града
Бежал с семьей благочестивый Лот,

Но оглянулась женщина и вот
Застыла, ставши соляной громадой.

И ты бежишь в смятеньи и с досадой
Из града, где пороков длинен счет,
Душа благая, всё вперед, вперед,
Ты знаешь, что назад смотреть не надо.

Ты к Пастырю всевечному вернешься,
Заблудшая овца, беги от стад,
Приди в Его объятия скорее!
Пришлось супругу потерять Орфею,
Лишь глянул на нее близ темных врат,
Но ты назад – на ад – не обернешься.

Эклоги
Коринто

Средь малых звезд на темном небосводе
Струит сиянье полная луна,
Покой и мир царят во всей природе.

Создания земные властью сна
Избавив от трудов и убаюкав,
Уснувший мир накрыла тишина.

Один Коринто среди стройных буков
О милой Галатее тихо пел.
В лесу никто не слышал скорбных звуков,

И слезный свет в очах его горел,
Лишь он один не знал отдохновенья,
Стихами о любви своей скорбел:

«О Галатея, хладного презренья
Достоин ли Коринто, твой пастух?
Не трогают тебя мои мученья.

И лес к моим стенаниям не глух,
И даже Ночь, как бисер звезд рассыплет,
Порою к ним свой преклоняет слух.

Покоя стада моего не зыблет
Ни опасенье, ни укол тревог,
Оно самодовольно травку щиплет.

Спокойны овцы – бдителен и строг
Над ними пес, их верная охрана,
Ласкает их приветный ветерок,
Лишь я пеняю, плачу непрестанно.
Но что за прок от жалоб, слез таких,
Коль их не слышит та, что мне желанна?

Ах, ты бежала от очей моих
Быстрее мысли! Как узрели очи,
Так в сердце нет покоя ни на миг.

И есть ли сердце твоего жесточе!
Три пятилетья, нимфа, ты жила
На службе у Дианы в свите прочей.

Не хватит ли? Но ты не подала

Ни знака мне, ты отвергаешь милость.
И горе мне! призыву не вняла.

Бежишь, а тысяча б других склонилось!
Пред силой заклинания, ей-ей,
Луна, и та, на землю бы спустилась;

Людей Итаки превратить в зверей
Сумели заклинания когда-то,
Могли бы тронуть и бездушных змей.

Хоть груб мой стих, украшен небогато,
Его на ветер брошу, поглядим:
Быть может, донесется к ней, крылатый.

Блуждает ветер по древам густым,
И те, колеблясь, шепчутся приятно,
Эфир наполнив именем твоим,

Доносят до меня его, и внятно
К жестокой нимфе мой летит напев
Чрез долы, что простерлись необъятно;

Хоть Эхо, вторя плачу средь дерев,
Его двоит, хоть ветер пени множит,
Но в камне, знаю, не взойдет посев.
Ты недалече слушаешь, быть может,
В пещере где-нибудь; к тебе стремлюсь,
Ведь без тебя и миг напрасно прожит.

Тебя б узреть! О, я тогда потщусь
Смягчить твой гнев, чтоб стала благосклонней,
Я лика, белых рук твоих коснусь.

Коль будем вместе на цветущем склоне,
Плакучей ивы обдеру кору
И сделаю цевницу сладкозвонней!

Власы твои лозою уберу,
И млела бы лужайка под ногами,
Как стала б танцевать ты на ветру.

Устав, мы возлегли бы под дубами,
И я, цветы различные нарвав,
Тебя бы осыпал их лепестками.

Благоуханиям несчетных трав

Ты б улыбалась; где цветок сорву я,
Вставал бы новый, голову подняв.

Венками б осенял твою главу я,
Вплетал бы листья в золото волос,
Ты побеждаешь их красу живую.

И шепот чистых ручейков бы нес
Ответ на наши песни издалёка;
Нам пел бы птичий хор, сладкоголос.

Но ты бежишь, о нимфа, ты жестока,
На сердце жестких помыслов покров,
Но он не губит красоты до срока.

Когда ты гонишь зверя средь дубров,
Не я, пастух, а искушенный в лове
С тобою бы отправился на лов.
Ты мечешь стрелы, прячешься в дубровe,
Держа свой лук, но жду я кабана
В лощине с острой пикой наготове.

Терплю, несчастный, муки я сполна,
Когда, босая, ты бежишь проворно,
И я вздыхаю, ведь боязнь сильна,

Чтоб змеи, камни иль колючки терна
Не ранили стопу, что столь бела!
Мне не угнаться за тобой, бесспорно.

Как если поразила цель стрела
И извлекут ее, она клонится,
Но, выпрямившись, станет как была.

Ты так проворна, так легка, что мнится,
Бежишь ты по воде, а глядя вслед,
Я вижу, что стопа не омочится.

Но сердцу моему покоя нет:
Вдруг, как Нарцисс, внезапно ты истаешь —
Краса его пошла юнцу во вред;

Когда в ручье лицо ты омываешь,
Рябь сгладится и тотчас пропадет,
Как в зеркале, себя ты созерцаешь!

Ах, во влюбленных разум не живет!
Ты удалилась, но воображенье
Твой образ чертит мне на глади вод.

Гляжу в ручей и вижу отраженье

Свое я только, сколь ни кликай впредь,
Напрасно: ты исчезла, как виденье.

Не белолицый, но не хилый ведь,
Да я пастух не робкого десятка!
А кто не смугл, тот лучше, мне ответь?
И ты ведь не расстроишься украдкой,
Узнав, что волосата грудь моя,
Ведь нет во мне иного недостатка.

Не знаешь ты, на что способен я:
Хватаю я быка за оба рога,
И падает на землю он, стеня.

Залез в пещеру раз, а там – берлога,
Извлек оттоль я пару медвежат,
И уж была назад моя дорога,

Как вдруг вошла медведица, я сжат
Почти уж был в когтях зверюги ярой,
Разгневалась она за милых чад,

Но сук сломал, и с одного удара
Она простерлась, дух из тела вон;
Твоя, коль хочешь, медвежаток пара.

Со мной сходиться в схватке не резон:
Я победил на празднестве в честь Пана,
Теленком и телицей награжден.

В стрельбе посостязался бы с Дианой,
О четырех рогах бы получил
В награду долгорунного барана,

Он будет твой. Хоть Неифиле мил,
С ней хладен я: меня-то не завлечь ей,
Ведь лишь тебе я сердце подарил.

Ты знаешь: я богат, и столь далече
Разносится мычанье по полям
Моих быков и блеянье овечье.

Тебе я млеко свежее подам
И ягод с луга поднесу и белых,
И тех, чей цвет под стать твоим устам;
Плодов отборных, наливных и спелых,
Что пчел рои питают каждый год,
Каких и мир не знал в своих пределах.

С амброзией сравню свой сладкий мед —

Юпитер сам таким доволен будет,
В Сицилии он лучше не найдет.

Коль песня состраданья не пробудит,
Быть может, птичий сладкогласный хор
Тебя, о нимфа, сжалиться принудит.

Не слышишь ты, как огласил простор
Плач Филомелы горестной, и внемлю,
Что в песнях тех сквозит тебе укор.

Одну ее я в спутницы приемлю,
Но сжалишься – надежда не пуста,
Под смех твой я в слезах купаю землю.

Прекрасна ты и вместе с тем люта,
И всё же помни о своем уделе,
Ведь и твоя не вечна красота.

Приду в свой сад, лишь мраки поредели,
Светило встанет, волю дав лучам,
И явит то, чего не зрел доселе.

Весною розы посадил я там,
Но стоит только обратиться взору,
Совсем иное явится очам.

По белому и алому убору
Тех свежих роз ложится тень листвы;
Одна сомкнулась, хоть раскрыться впору,

Ту злобный ветер растрепал, увы,
А та едва бутон свой приоткрыла,
Иная не поднимет головы
И чахнет, в дол потупившись уныло.
Рождается и гибнет на глазах
Краса, что мир на час лишь посетила.

И видя сколько падает во прах
Листвы пожухлой, постигает разум,
Что наша юность как ресницы взмах.

Цветут деревья и все ветви разом
К светилу простирают вешним днем,
Внимая сладким ветерка проказам.

Вольготно древу: завязи на нем,
Но вот они час от часу тучнеют
И отягчают дерево плодом;

Плоды растут, неспешно тяжелеют
И давят весом на него, как спуд,

И сладким соком полнятся, и спеют.

Настанет осень, и плоды сорвут,
А там и до зимы недолго грозной,
Когда и листья, и цветы умрут.

Сорви же розу, ведь еще не поздно».

Аполлон и пан

песнь Аполлона:

песнь Пана:

В Фессалии из недр глубоких Пинда,
Прославленного струнами певцов
От гор Атланта до истоков Инда,

Источник бил, прозрачен, бирюзов,
Питал он травы на лугах окрестных
И благородных множество цветов.

Он вырывался из пределов тесных
И разливался краше и полней,
Чем говорят в писаниях и песнях.

Затем, приняв название Пеней,
Темпейский дол он на две половины

Делил волной стремительной своей.

Вокруг был лес тенистый и старинный,
И звери разные селились в нем,
Которых нам бояться нет причины.

Там, проходя по полю ясным днем,
Помедлишь, созерцая переливы
Цветов, пестрящих ярким полотном.

Недолги ночи там и не ленивы,
И зелени не тронут холода,
Густы деревья и раздольны нивы.

И высь не омрачится никогда
Суровым, тученосным Аквилоном;
И рекам не страшны оковы льда.

Под Сириусом гневным, раскаленным
Не чахла плодородная земля,
Растящая побеги щедрым лоном.

На засуху цветущие поля
Не возносили жалобы к Юноне,
Желанной влагой жажду утоля.

Бессменная весна в любом сезоне

Царила в этих благостных местах,
Где перемены нет на небосклоне.

В цветущей зелени и на кустах,
На древесах, взлелеянных весною,
Повсюду разносился щебет птах.

И было любо Фебу над волною
Лелеять лавр – поди не подивись:
Тот рад зиме не менее чем зною.

На берегах отцовых разрослись
Деревья Дафны, и Пенея воды
По милой дщери плачем излились.

И песня лебедей, красы природы,
От глади отражалась, над рекой
Ей вторили дерев густые своды.

Под Фебовой возлюбленной листвой
Звучало это сладостное пенье
Как над ключа Пегасова волной.

Как никакое дольнее владенье,
Сей край любил бессмертный Аполлон
И вод Пенея быстрое теченье.

Когда с небес был свержен Фаэтон,
За сына мстя, он в мрачную обитель
Низверг Стеропа, в хладный Ахерон.

Но на совете гневный Вседержитель
Ему на время ссылку присудил,
И в этот край был изгнан небожитель.
Здесь в пастуха себя он превратил,
Оставив невеликое различье
Меж тем, кем стал и тем, кем вправду был.

Лук на плече носил в таком обличье,
И светом солнца лик его горел,
Напоминая о былом величье;

Златую лиру на боку имел
И так бродил он в том краю подлунном,
Но блеск его на время потускнел.

Слоновой кости плектр он вверил струнам,
Лучились очи блеском неземным,
Как то богам пристало вечно-юным.

Пришлось покрыться кудрям золотым
Простым венком, что из травы прибрежной,
Не диадемой, столь привычной им.

Так в песнях ли, на лире безмятежной,
Иль струны с гласом вместе сочетав,
О Дафне, о Пенее пел он нежно.

И вышел Пан, те песни услыхав,
«Пастух, – сказал, – ты мастер в части лада,
Хоть стад твоих не вижу среди трав.

С тобою мне бы состязаться надо;
Но, богу, не пристало мне отнюдь
Петь вместе с тем, кто выпасает стадо».

На это Кинфий: «Уж не обессудь,
Негоже лире состязаться в споре,
Коль станешь ты в свою свирелку дуть.

И с ладом ты, как вижу я, в раздоре».
Тут Пан узнать Делосца-бога смог

По свету, что в его лучился взоре.
«Ты петь во мне желание разжег, —
Сказал ему, – в Аркадии доселе
Ты чтимей, чем иной бессмертный бог».

«То мне по нраву, – согласился Делий, —
Доволен я». И оба в этот миг
По-над рекой на свежих травах сели.

Тут Пан, взирая на речной тростник,
О давней страсти вспомнил, о Сиринге,
И, взяв свирель, устами к ней приник.

Тут Феб наладил струны на форминге
Под лавром, что над ним раскинул тень;
И, вторя, Пан стал дуть в свои тростинки.

Приди, дриада, под благую сень
Сего широколиственного бука,
Послушай наши песни в жаркий день.

Лица не прячь, несносна мне разлука,
Тебя высоким слогом воспевать

Мне жгучая повелевает мука.

Тебя холмами стану заклинать,
Долинами тенистыми, ручьями,
Где ты стопы привыкла омывать;

Простором гор и горными ключами,
Красою непорочной и живой
И солнце посрамившими очами;

Туникой белой, стан облегшей твой,
Кудрями и слоновой костью стана;
Тобою попираемой травой,

Пещерою, что в зной тебе желанна,
Где прячешься, и луком золотым,
С каким в лесу ты бродишь, как Диана, —
Не брезгуй, нимфа, пением моим,
Напевом бога; каждая дриада
Придет сюда и усладится им;

Пеней замедлит бег; забудет стадо
О сочных травах, что вокруг растут;
Умолкнет птичья звонкая рулада.

Сильваны бога своего почтут,

Вкусят сатиры сладостных созвучий,
И лиственные шорохи замрут.
Так ветру Пан вверял напев летучий:

Богиня, порождение пучин,
Что пастуха сикульского сгубила,
Скажи, сей нечестивец твой ли сын?

Конечно, ты Амора породила,
И ты жестока, и жестокий он,
Виновник моего слепого пыла.

Какой из фурий был ты награжден
Тем ядом? или окунаешь жало
Ты в Церберову пену, Купидон?

А если бог ты, как такое стало,
Что мог на смерть столь горькую взирать,
В очах же ни слезинки не блистало?

Тебя ль Киприды сыном величать?
Едва ли ты достоин званий лучших,
И не признаю, что богиня – мать.

На снежных ты зачат Кавказских кручах,

Средь острых скал тянулся ты к сосцам
Тигриц гирканских, диких и могучих.

Ты превзошел кормилиц: их сердцам
Однажды суждено было смягчиться,
Но ты что камень оставался сам.
Пришлось щекам мохнатым омочиться
Слезами, кои были им новы,
И хищник взор поднять не смел решиться.

Но где вы были, нимфы? Или вы
Не слышали последний крик, зовущий
Жестокую звезду? увы, увы!

Тебе любезны, Дафна, эти пущи,
И благодарно чтит тебя всегда
Любой пастух, стада свои пасущий.

О Дафна, сколько видели стада
Твоих страданий! Судеб непреклонных
Не избежать вовеки, никогда.

Кто сдержит ход колес неугомонных,

Кто злых сестер мольбой приворожит,
Ланиты искупав в слезах соленых?

И что от Купидона защитит?
Сиринга знает, хоть меня боялась,
Как быстро Пан, преследуя, бежит.

Коль Дафны смерть не пробудила жалость
В твоем жестоком сердце, Купидон,
Надежд у всех влюбленных не осталось.

В пещерах слышен львов рычащих стон,
Немые скалы слезы льют ручьисто,
Дубравы плачут; лютый Ликаон,

И тот бы зарыдал от скорби истой,
И даже зверь, чей облик приняла
С любимым сыном хладная Каллисто.

Поэмы
Ненча из Барберино

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

Пою, ведь страсти пыл не пересилю,
О дивной даме, коей истомлен,
Едва ее увижу хоть за милю,
Волнуюсь так, что миг – и сердце вон.
Бадью похвал ее красе я вылью,

Огнем ее очей испепелен;
Я грады, веси обошел напрасно —
Не встретил девушки такой прекрасной.

Был в Эмполи и был я в Каскиано,
В Манджоне, в Колле, Пьеро, Сан Донато,
Был в Поджибонци, даже в Дикомано
Всходил на гору по крутому скату;
На ярмарках бывал я и в Гальяно,
В Феджине, Кастельфранко, Борго, Прато,
Но в Барберино – наилучший торг,
Там Ненча – о, отрада и восторг!

Не видел благороднее на свете,
Мудрее и воспитанней девиц,
И черт нет соразмернее, чем эти,
А личико – таких не сыщешь лиц:
В очах ее как праздник в разноцветье,
Лишь взор поднимет из-под мглы ресниц,
Посередине носик утонченный,

Как будто неким мастером точеный.

Кораллы-губки до чего же милы,
И обе нити, клясться я готов,
Такие ж, как у молодой кобылы —
По двадцать пять там ровненьких зубов;
А этим щечкам не нужны белилы —
Подобны цветом белизне снегов,
Алеют розы там; совсем не басни,
Что не найдешь на свете дев прекрасней.

Счастливец тот, кто подойдет милашке
И удостоится назвать женой,
Я верю, что родился он в рубашке,
Коль цвет сорвет, столь вожделенный мной;
Блажен он и не сделает промашки,
Не возжелает участи иной,
Как Ненчу ласкою дарить горячей;
Она нежнее, чем жирок телячий.

Тебя сравню с Морганой-волхвовицей,

Ты чарами не менее сильна,
Тебя представлю благостной денницей,
Когда взойдет над хижиной она;
Ты чище, чем в источнике водица,
Ты слаще и пьянительней вина,
Наутро ли, вечор тебя узрею,
Сужу, что ты самой муки белее.

Глазам твоим, всемощным сердцеедам,
Стена, и та, нисколько не преграда,
И ты влюбленных обрекаешь бедам,
Ведь сердце – камень, где уж там пощада!
Их сотни за тобой влачатся следом,
Ты мигом всех пленяешь властью взгляда,
Куда ты ни посмотришь, раз за разом
В миг у меня зайдется ум за разум.

Жемчужинкою в красочном сиянье
Наутро в церковь, Ненча, ты идешь:
В изящной котте из дамасской ткани,
В гамурре пестрой; стан ты обовьешь

Златистым пояском; венец желаний,
Ты всех вокруг шпалерами кладешь,
Едва тебя, нарядную, заметят
Иль если на пути возвратном встретят.

О, с Ненчей не сравню я даже солнце,
Как выйдет утром в поле на страду;
Как сядет ввечеру за веретенце,
Умелицы подобной не найду!
В дому хлопочет, вижу сквозь оконце,
Идет работа у нее в ладу;
Она ледка озерного тончее,
Медовика и слаже, и мягчее.

Я раньше-то пахал всегда в охотку,
А нынче за мотыгу не берусь,
Куска не проглочу, не брошу в глотку,
Я пойман в сети и не развяжусь;
Собой напоминаю я решетку,
Так высох, так страстями я крушусь,
Но всё сносить готов, к тому обязан,
Будь и на тысячу узлов я связан.

Из-за тебя с ума сошел, похоже —
Всю ночь брожу с поникшей головой,
А родичи толкуют, что негоже,
Глядите, мол, Валлера сам не свой!
Соседи рассудачилися тоже,
Мол, я к тебе на двор ночной порой,
А коли запою там, то потеха:
В постели надрываешься от смеха.

Всю ночь не спал и думки одолели,
Тысячелетьем показался день,
Всё ждал тебя увидеть на неделе,
Лишь выгоню скотину за плетень.
Вот, как безумный, прянул я с постели,
Торчать мне было на дворе не лень,
Там час ли протоптался, полтора ли;
Зашла луна, и высветились дали.

Ни в чем у милой Ненчи нет порока,
Красавица она ни дать ни взять,
На подбородке ямка, ясноока,
Сама дородна, в ней отменна стать;
С душою благородною, высокой,

Всех совершенств лежит на ней печать,
Свой образец природа нам явила;
Сердец немало Ненча полонила.

Изранившись средь заросли терновой,
Плодов тебе нарвал я поутру
И преподнес, но ты горда, сурова,
Был дар тебе, видать, не по нутру,
Смеяться надо мной всегда готова,
Я ж искренне к тебе и по добру;
Тебя увидев, точно окрылился,
И всякий говорит, как я влюбился.

Прождал тебя у мельницы намедни,
Пока ты не пройдешь, душа моя,
Скотину вывел я на холм соседний,
Идешь – застыл, дыханье затая!
Стояли на припеке мы – не бредни,
И счел себя тогда счастливым я;
Поднялись мы на холм по тропке тонкой
И гладили с тобою там ягненка.

Когда ты выходила из кошары
С собакой и держа в руке овцу,
Вдруг сердце у меня зашлось от жара,
И слезы побежали по лицу;
И я, дабы тебе составить пару,
Погнал своих телят на зеленцу,
В ложбину я спустился, бедолага,
Но ты – обратно, вижу из оврага.

Однажды по воду ты шла с кувшином,
И видел я – к колодцу моему!
О, как бы счастье сделать нам единым,
Чтоб радоваться было бы чему!
Я слал благословение судьбинам,
Что сблизился с тобой, но не пойму:
Коль здесь ты, почему я без оплошек
Не предложил ни муста, ни лепешек?

Впервые я тобой залюбовался,
Когда в апреле ты рвала салат,
Позвал тебя, в ответ упрек раздался,
И от подруг ты отошла назад;
– Куда ты? – я спросил и вдруг замялся,

Растерянно тогда потупив взгляд;
И ничего притом не сделал боле,
Так и обрекся горестной недоли.

Ненчьоцца, чтоб не бегать мне впустую,
Там, где твои овечки пьют всегда,
Близ лужи, на земле, сижу и жду я,
Когда пройдешь ты, важна и горда;
И вот идешь ты мимо, я ликую,
Вот обернулась, как я счастлив, да!
Так долго ожидал я появленья,
Но задержать не смог ни на мгновенье.

Ходил я во Флоренцию в субботу,
Дабы продать там две вязанки дров,
Что нарубил (я справил ту работу,
Покуда выпасал своих коров),
Там прикупить не счел я за заботу
Тебе корзинку, полную даров:
Белила в ней, иголки да булавки,
Их за кваттрино взял в базарной лавке.

Меня, танцуя, ты заворожила:

Как козочка, проворна и легка,
То мельницею бойко закружила,
То вдруг рукой коснулась башмачка;
Закончив танец, ты поклон свершила,
И вновь притоп и резвых два прыжка.
Поклон изящен, точно на картинке,
Такой вам не по силам, флорентинки.

Какую бы хотела безделушку
Из сотни всяких всячин получить?
Застежку ли для платья, брошку, рюшку
Иль пуговку резную, может быть?
О сумке ли мечтаешь ты втихушку,
Иль жаждешь пояском свой стан обвить,
Али тесемка шелковая манит?
Скажи, за мною дело-то не станет.

Иль хочешь бусами украсить шею
С костяшками, что роз самих алей?
С подвескою их предложить посмею,
Скажи лишь, брать помельче ль, покрупней?

Я даже и себя не пожалею:
Их выточу из собственных костей;
Иль юбку дорогую раздобуду;
Любую, Ненча, выполню причуду.

Коль молвят в дни, как Сьеве разольется,
«Бросайся!» – утоплюсь я в тот же час;
Коль биться в стену головой придется,
Ударюсь так, что искры вмиг из глаз.
Располагай как хочешь мной, Ненчьоца,
На всё готов я и без дальних фраз,
Другие только обещают втуне,
Я ж башмачки припас моей чарунье.

Красотка, страх берет меня порою:
Не приглянулся ли тебе другой?
Я выпущу кишки себе, не скрою,
Все внутренности выну я долой.
Ты знаешь, нож отточенный со мною,
Рублю им, режу с твердою рукой;
И коль найду в дому его, тогда же
На пядь в себя всажу иль глубже даже.

Красавицу искал бы где угодно,
Как Ненча, не найду такой ничуть:
Приземиста, упитанна, дородна,
Задорна, бойка, так бы ущипнуть!
Пронзил бы взглядом, ибо зрю свободно,
(А кто не видел, тот не обессудь);
Поет она на празднике, как птица,
И в танцах пребольшая мастерица.

Заботой окружу мою голубку,
Чтоб затянулась в сердце злая рана,
Я выложусь, тебе достану юбку,
Продам лишь поросяток утром рано,
Набью суму и справлю вмиг покупку,
Работник я, сама ты знаешь, рьяный:
Мотыгою орудую в страду,
Трублю в рожок иль в медную дуду.

Пригожей ты самой мадонны Лапы,
Забавней яств, какими славен пир,
Той мухи, чьи в сиропе вязнут лапы,
И уховертки, вползшей на инжир;
О, ты красивее цветущей репы,

Ты слаще меда и нежней, чем сыр;
Хотел бы в щечку впиться поцелуем,
Твоим духмяным запахом волнуем.

Сидел на травах я вблизи канала,
Что от твоей овчарни невдали,
Уж полчаса и больше пробежало,
И сами овцы, видел я, прошли.
Почто за ними ты не выступала?
Приди под эти ивы, не юли;
Стада объединим, не будь простушкой:
Гораздо лучше, коль пастух с пастушкой.

Ненчьоцца, мне пора уже приспела
Домой погнать насытившийся скот;
Ну, Бога ради, приходи же смело,
Меня хозяйка Маза уж зовет;
Довольно мучать пыткой без предела,
И так пустила сердце в обмолот!
Не правда ль, нынче вечер-то прекрасный?
Валлера твой всецело, свет мой ясный.

– Ну что, Ненчьоцца, хочешь порезвиться?

С тобой пойдем в ближайший мы ивняк.

– Охотно, только слишком – не годится,

Чтоб худо мне не сделалось никак.

– Ну полно, Ненча, в пору ли сумниться:

С любовью понесу, а коли – бряк,

То не обижу Ненчу дорогую:

И языком поднять тебя смогу я.

– Сойдем в ложбинку этою тропою,

Так ближе, здесь не страшен летний зной,

А то ведь слабым голосом, не скрою,

Тебя и не докличутся домой.

– Отбрось покров, потешимся игрою,

Лик милый, милый лик прекрасный твой

И все твои мне отвечают члены,

Что, верно, ангелок ты несравненный. —

Взлелеял, Ненча, для тебя козленка,
Но мекает он громко, вот беда;
Спустись ко мне, не обходи сторонкой,
Уж близко волк, крадется он сюда;
Сойди в долину этой тропкой тонкой,
И сердцем я возрадуюсь тогда,
Не то ведь скажут люди, честь по чести:
«Его сгубила Ненча с волком вместе».

В лесу я отыскал гнездо пичужек,
Из заросли тебе его извлек,
Всё для тебя и для твоих подружек,
Чтоб с ними позабавилась, дружок;
Я завтра принесу тебе ватрушек,
Не видели б соседи, я – молчок,
Не то ведь мне придется извиняться,
Что ж, на волынке буду забавляться.

Тебе не покажусь головорезом,
Будь шелковый одет на мне кафтан,
Я, верно, городским смотрюсь балбесом
С чулками, где не сыщется изъян;

Пусть патлы не срезаю я железом —
Монету драть цирюльник больно рьян,
Но коль придешь, хоть к сбору урожая,
Я сделаю и больше, обещаю.

Прощай, моя прекрасная лилея,
Я вижу: с пастбища волы бредут,
Их подгоню дубиной не робея
И сам за земляникой тут как тут;
Услышишь, протрублю, так поскорее
Ты приходи ко мне сюда, на пруд,
У сада здесь, в сей рощице тенистой,
Бадьян пособираем мы душистый.

Просил я Беко, твоего папашу,
Чтоб дал благословение на брак,
Не удалось лишь уломать мамашу,
Она не соглашается никак.
Но ничего, сыграем свадьбу нашу,
Схожу к ним снова, я ведь не простак
И старикам твоим твердил немало:
Хочу, мол, чтобы ты женой мне стала.

Когда тебя в толпе я вижу плотной,
Обращены все взгляды на тебя,
И замечаю: ловишь их охотно,
Мое же сердце мучится, любя.
Его разишь с улыбкой беззаботной,
Сто раз на дню вздыхаю я, скорбя,
И все стенанья, жалобы и плачи
Из-за тебя, о Ненча, не иначе.

Ненчьоцца, раздели со мною ужин,
Лишь сбегаю, салата принесу,
Дождись меня, на то зарок твой нужен,
Не убегай, помедли же в лесу;
Я против этой Беки безоружен,
Тебя от сей несчастной не спасу,
И злу такому знаю я причину —
Порою бес дерет нас как скотину.

Когда бежишь на праздник безоглядно,
Вся точно перл, изящества венец,
Бела, обворожительна, нарядна,
На пальцах носишь до семи колец;
И в ларчике твоем украс изрядно,

Ты все бы их надела, наконец;
Прекрасна ты в жемчужном ожерелье,
Без Ненчи и веселье – не веселье.

Ты знаешь, Ненча, как горю я страстью
От этих жгучих глаз, по их вине,
Слезами исхожу, казним напастью,
Как будто зубы выдернули мне;
Ты знаешь, что могла б вернуть мне счастье,
Оставив ухажеров в стороне,
Могла бы осчастливить ты Баллеру,
Чье сердце так истерзано не в меру.

Я видел, как из церкви возвращалась,
Был ослеплен от этой красоты;
Пустился через поле, только малость
Споткнулся, продираясь сквозь кусты;
В сторонке я стоял, ты усмехалась,
Да, надо мною потешалась ты!
Я подошел, ты на меня взглянула,
Но тотчас лик с презреньем отвернула.

Ненчьоцца, от тебя ослепнуть глазу,
Лишь я твою увижу пестроту;
И в год не ел бы, поклянусь, ни разу
За право видеть эту красоту;
Когда при встрече молвил бы хоть фразу,
Я б счастлив был, забыл бы маету;
Я был бы как богач, коли растрогать
Тебя я, Ненча, мог хотя б на ноготь.

Взойдешь ли на балкон хоть на минутку?
Могу ль тебя с постели я поднять?
Ты слышала, трубил тебе побудку,
Тебе-то всё смешки, а мне – страдать.
Мой тяжкий плен ты обращаешь в шутку
И мнишь безумной песнь мою, видать;
Так день весь простоял там не у дел я,
А кренделек преподнести хотел я.

Как ты жестока, ну скажи на милость,
Идя в толпе средь стольких, верь не

верь,
О, если б слаще меда обратилась!
Мне муки слала прежде, шлешь теперь,
А я все верен, как ты убедилась,
И в ночь венком твою украшу дверь,
Быть может, смилостивлю понемногу
И стану я тебе как вилы стогу!

Нет лучше мастериц на белом свете,
Чем ты, о Ненча, завивать власа!
Из каждой мелочевки, вы заметьте,
Ты делаешь ну просто чудеса;
На празднике разинем рот, как дети:
Еще бы, несказанная краса;
А плетева твои, твои корзинки —
Таких, о Ненча, не было на рынке.

Ты мне любезней, Ненча, даже боле,
Чем пламенник безумцу-мотыльку;
Ищу тебя везде в своей недоле,
Так пьяница не прется к кабаку!
Ты мне нужнее средь сердечной боли,
Чем ночью свет маячный моряку;

Приди скорее, изнемог от грусти,
Я позабочусь о каштанах, мусте.

О, бедненький Валлера, разнесчастный,
Труды и время на ветер пустил!
Ты любишь Ненчу пламенно и страстно,
А ей, как будто враг какой, немил;
В отчаянье завыть бы полногласно,
О горе бы поведать что есть сил!
Ты, Ненча, вывела из равновесья:
Тебя увижу и трясуся весь я.

Всего меня ты, Ненча, истомила,
Боюсь, не сожалеешь ты ничуть;
О, только если бы не больно было,
Рассек себе б собственноручно грудь
И вынул сердце б, дабы ты узрила,
Как страсть к тебе его изъела жуть;
Коснись его, потрогай, дорогая,
Услышишь: «Ненча, Ненча!» простенаю.

Но, Ненча, распростимся мы покуда,
Я вижу, что телята у ворот,

Хоть одного не станет, будет худо,
И, знать, нелишне мне вести подсчет.
Спешу домой и слышу зов оттуда,
То мона Маза глотку уж дерет;
Ну с Богом, и не стану прекословить,
Я слышал, Нанни хочет муст готовить.

Соколиная Охота

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLIVa

XLV

Восток пунцовел, и вершины гор
Озолотились в утреннем сиянье,
Чирикал звонко воробьиный хор,

И торопились к пахоте крестьяне;
Исчезли звезды, прояснился бор,
И лавр явился взору на поляне;
Сокрылись в чащи, в мрак родной ночи,
Неясыти и совы, и сычи.

В укромную лиса спешила нору
И волк бежал под нелюдимый кров,
Свой лик Диана скрыла в эту пору,
И прояснились сумраки дубров.
Крестьянка бойкая, не без задору,
Свиней уж выгоняла и коров;
Был воздух свежим, чистым и прозрачным,
Что предвещало: выйдет день удачным.

Проснулся я, заслышав звонкий лай
Собак моих и гул протяжный рога.
– Сокольничие, ну-ка поспешай,
Не ранний час, не ближняя дорога;
Эй, канатьер, беги и не зевай,
Уж выведены кони, у порога,
По парам псов привязывай скорей.

Беги, мой Капеллайо, пошустрей! —

Вот кличет Капеллайо Барабана,
Войнуху, Нитку, Тряпку, Молотка,
Листка, Утеса, Рыжика, Каштана,
Потешника, Фиалку, Волоска,
Фазанчика, Фазана и Беляна,
Игрушку, Лапу, Пестика, Мешка;
Здесь Серкьо, Крива, Лакомка и Живчик,
И Сито, и мой старенький Счастливчик.

Отряд собачий поле обхватил.
Сокольничие следом выступали:
Гильельмо – он всегда охоту чтил
И был готов в любые мчаться дали,
С ним рядом Фолье Амиери был
И Джанфранческо, Диониджи – дале,
Клевал он носом, голову клоня,
Ведь ранний час был, на рассвете дня.

Проказою Фортуны беззаконной,
Что любит сажей белое марать,
Конем был сброшен Диониджи сонный

На левый бок, и худо вышло, знать:
На ястреба упал и птице оной
Успел он и крыло и бок помять;
Не скажет он, как очутился в яме,
Чтобы не сильно огорчаться даме.

И не упал, а рухнул он в овраг,
Скатился кубарем, и верить можно,
Что в самый низ; поднявшись второпях,
Он сел на круглый камень осторожно
И думал: «Лучше как Гисмондо, ах,
Лежал бы я в постели бестревожно,
Босой, в сорочке свежей и, небось,
Со мной беды такой бы не стряслось.

Ну не болван! Понежился бы ныне
И не тащился б рано поутру.
А так себе в урон сижу в ложбине,
Охотникам, как видно, не к добру.
Я на цветами вышитой перине
Себя б доверил мягкому одру:
Давить подушку лучше пуховую,
*Чем портить птицу и коня впустую».

Хотел было в атаку ястребок,
Но, весь помятый, он не прянул круто,
А стал крениться на увечный бок
И пал на землю тою же минутой;
Тут, может, Диониджи бы помог,
Но, разозлившись, наскочил он люто
И, закатив рукав свой, в миг один
Сел на него и сплющил птицу в блин.

– Где Джансимоне? Где Корона ныне? —
Спросил я Браччо. – Где же тот носач?
– Остались каждый по своей причине, —
Ответил он. – С Короной-то, хоть плачь,
Мы бы забыли вовсе о дичине
По воле случая иль неудач;
И не беда, что он не с нами вместе,
Ведь брать его – недоброе предвестье.

– А где Луиджи Пульчи, наш поэт?
– В лесок ближайший скрылся он покуда,
И может статься, сочинять сонет

Сейчас пришла на ум ему причуда.
Корона провалялся, спору нет,
В постели утро, видно, было худо;
И ты еще услышишь о Короне
В охотничьей побаске иль в канцоне.

А Джансимоне слова не сказал
И попрощался с прочими едва ли,
Сам в лавочку направился, где взял
Платок такой, какого не знавали.
С испугу, только нос он опростал,
И лошади, и псы строптиветь стали,
И врассыпную бросились затем,
А кто остался, был доволен тем.

Итак, сокольничих осталось трое.
А вслед за ними шел несметный люд;
Кто озирался в радостном настрое,
Кто дичь искал; здесь весело идут
Бартоло, Браччо, Уливьер, герои,
Здесь я и Пьеро Аламанни тут,
И Портинар Джованни едет тоже,
Он соня и с ночной сипухой схожий.

Их Строццо обгоняет; как мастак,
Охотников уводит он далёко.
Не попадал он никогда впросак,
Ведь в этом деле был заправский дока.
Кто пеший, кто в седле – добрались так
До места, где наметанное око
Немалый уж предвидело улов
И куропаток, и перепелов.

Предстала перед нами луговина.
Канава посередке, как пятно,
Открыта с каждой стороны равнина,
В канаве только сыро и темно.
Оценена тотчас была ложбина,
И вот единогласно решено,
Что многообещающе красива
И в мире нет подобного ей дива.

В тот час под солнцем горы уж пеклись,
А на лугу всё оставались тени,
Когда туда мы тропкой добрались.
Помедлили и после размышлений

По той долине быстро разбрелись,
И так как в месте не было сомнений,
Кто был при псах, кто встал настороже,
Как дельный Строццо, названный уже.

Здесь кто-то сразу место выбирает,
Чтоб ястреба успешней запустить;
А кто-то канатьера понуждает
Псов отвязать, чтоб мчались во всю прыть.
Бартоло вглубь оврага залезает;
А Уливьер с иными прошерстить
Спешит пол-луга, всюду рыщет, зорок.
Тут канатьер двух псов спустил со сворок.

И не иначе: как скакун-бербер,
Когда труба призывно возгласила,
Скажу, летит, пускается в карьер, —
Так мчались эти псы со свежей силой.
Не зная, как созвать их, канатьер
Их выкликал, но то б напрасно было,
Когда гонялся бы за ними так —

Шестом и свистом сдерживал собак.

– Ату, ату! Хватай, родимый, ну же!
Вперед! Вперед! Вернись ко мне, сюда!
Войнуха, Барабан, не будьте вчуже!
Мешку на помощь! Оплошал, беда!
Ах, плут, ах, лодырь! Ну, Каштан мой дюжий,
Смотри, смотри, украсть бригаду! Да!
Фазанчик… ну, вперед! что за оглядка?
Беги сюда, ты видишь: куропатка!

Насторожился Сито: шорох там!
Вот-вот поднимет птицу из оврага.
И всё же, нашим вопреки мечтам,
Не поднял ничего он, бедолага.
А Крива тут наделал шум и гам,
Когда резвился, с ним и вся ватага:
Кто прыгал, кто плясал среди росы.
Ну просто загляденье, а не псы!

Меж тем Счастливчик неизменным нюхом
Напал на след и мчался по нему.

Шуршанье крыльев уловил я ухом
И честь воздал борзому своему:
Хоть старый, что сказать, он молод духом,
И ясно сразу: знает, что к чему.
Не промах мой Счастливчик, я не скрою.
– Эй, Уливьер, взгляни-ка пред собою!

На склон оврага взор переведи:
Сказать тебе, что здесь предстанет взгляду?
Одна, гляди, там две и три, гляди,
А вот и тысяча пернатых кряду! —
Тут Джанфранческо, бывший впереди,
Спустился в яму и на всю бригаду
Нахваливал что мочи ястребка,
Но, поспешив, не снял он колпачка.

– Гляди, Гильельмо, вот одна взлетела,
Сними шлычок и руку подними;
Не стой, Гильельмо! Да, вот это дело! —
Пустил Гильельмо: «Ну же, черт возь-

ми!»

За куропаткой прянул ястреб смело

И был готов орудовать когтьми,

Они схлестнулись.... только чрез мгновенье

Упали, растерявши оперенье.

– Спустите пса! – Гильельмо закричал, —

И побежал туда что было духу.

И так как шест был короток и мал,

Он, камень взяв, метнул его в Войнуху.

И спутников уже не ожидал,

А подбежал, но ястреба ни духу.

Его не видя, стал безмолвно он,

Чтоб колокольчика заслышать звон.

И, стоя так, идущих взглядом встретил:

– Добыча есть! Скорее на коней!

И ловко сам вскочил, от счастья светел,

Как тот, кто искушен в потехе сей.

На ястребе ранения заметил,

На голове его следы когтей,
А когти, клюв у ястреба в порядке,
Куда больней досталось куропатке.

Тут Джанфранческо с ястребом приспел,
На лучшем месте встал, где без помехи
Он куропатку старую узрел;
Приблизился, уверенный в успехе,
И сделал напуск, словно овладел
Премудростью охотничьей потехи.
Взметнулась куропатка и, ловка,
Оставила без перьев ястребка.

Таков был ястребок, неудивительно,
Он пустельгою показаться мог,
К тому же было всем весьма сомнительно,
Что дрозд однажды угодит в силок.
Надежды нет: умчалась дичь стремительно,
И всей игре был подведен итог,
А что не взял – так спешка в том по-

винна
И колпачок забытый, вот причина.

Ту куропатку, что взметнулась вдруг,
Увидел Фолье; он метнул привычно,
И ястреб взмыл и, огибая круг,
Наперерез помчался как обычно.
За ним и Фолье побежал чрез луг,
Ведь знал, что ястреб справится отлично.
На место, где помехи нет, порхнув,
Он кровью лапы обагрил и клюв.

При этом, нетерпением пылая,
Воскликнул оживленный Уливьер:
– Зови же их, зови их, Капеллайо!
Вот здесь одна, гляди-ка, канатьер.
Спусти Утеса, не нужна вся стая,
Утес ее найдет и средь пещер.
Гильельмо, праздно ты не стой в теневке,
А действуй с Фолье, да без проволочки.

Так поступили. Канатьер меж тем

Утесу повелел в овраг спуститься:

– Вниз, вниз давай! Что, охромел совсем!

Беги туда! Не пес ты, видно – псица!

– Узнали, что там? – он сказал затем, —

На дне оврага притаилась птица.

А вот и Фолье! – Фолье запустил,

Но, как Гильельмо, слишком поспешил.

Вот ястребы, забыв о куропатке,

Друг друга поразят того гляди.

Гильельмо молвил: «Фолье, всё в порядке!»,

А сам смешок едва сдержал в груди.

Притих Гильельмо в ожиданье схватки,

И Фолье: «Уливьер бежит, поди!»

И видит Уливьер, как меж собою

Столкнулись ястребы, готовы к бою.

Был ястреб Фолье в этаком бою

За горло схвачен ястребом Гильельмо,

И Фолье молвил: «Я распознаю,

Какую подлость ты замыслил, шельма!

Тот пересилит птицу ведь мою.

Безумие! Натешились досель мы,

А игры были плохи, черт возьми;

Безумец, что связался я с детьми!

Мой Боже, ничего себе потеха:

Твой ястреб взял за горло моего!»

Меж тем не сдерживал Гильельмо смеха:

«Так это по-французски, ничего!» —

Ничто его веселью не помеха.

Но Фолье зрит, как ястребу его

Случилось ястреба Гильельмо клюнуть,

И одолеть противника – раз плюнуть.

На землю пал, исклеван и побит;

А супротивник тою же минутой

Воспрянул и имел довольный вид,

Как истый победитель в схватке лютой.

Увечья ястреба Гильельмо зрит,

И то не по душе ему как будто.
Напал на Фолье: «Ах ты, негодяй!»
И было замахнулся невзначай.

Чтоб не дошло до потасовки дело,
Отпрянул Фолье, придержав язык.
Гильельмо всё кричал осатанело:
«Глупец, глупец, коль веришь в этот миг,
Что я не отомщу тебе умело.
Таких обид сносить я не привык!
Со мной Микель ди Джорджо, Раннуччино,
Еще других дождешься, дурачина».

Но Фолье, хоть от гнева в багреце,
По-прежнему молчал на оскорбленья,
Одно читалось на его лице:
Что ждет по справедливости решенья,
Однако всё утратил он в конце.
И тот: «Скажу для предостереженья:
Давай другое место подберем,
Хоть ты безумец, я плачу добром!»

В то время солнце минуло зенит,
И тени укорачиваться стали,
И сузились, приняв нелепый вид,
Как будто тонко их нарисовали.
Сильней цикада в зарослях звенит;
Как факелы, долины запылали;
Недвижен воздух, и деревьев сень
От зноя не спасала в жаркий день.

Мой Дионидзи, красный от загара,
Весь, будто свежее яйцо, в поту,
Сказал другим: «Не вынесу я жара,
Как хочешь, Джанфранческо, я пойду,
А то недалеко и до удара.
Мне оставаться здесь невмоготу,
При этом пекле только сумасброды
Добычу ждут как у моря погоды».

Так заявив, вскочил он на коня,
Не дожидаясь Джанфранческо-друга,
И те за ним, коней своих гоня,
Помчались к дому; всем уж стало туго.
Последним Капеллайо шел, стеня

И высунув язык, как от недуга.
Был в эту пору зной невыносим,
Пылала нива – так казалось им.

Вернулись кто веселый, кто понурый,
А кто – набив добычею суму.
Там были беспокойные натуры,
Которым мало, судя по всему;
Гильельмо шел обиженный и хмурый,
Ведь ссора, знать, не по душе ему.
А Джанфранческо и не знал заботы —
Потешился от этакой охоты.

Пришли домой; тут, отвязав собак,
На псарню их отводит Капеллайо;
Из погреба с вином достали бак,
Несут стаканы, жаждою пылая.
Настало время россказней и врак —
Охота обсуждается былая;
Прокисшее вино – треббьяно мнят,
Всех яства предстоящие манят.

Рассевшись за столом, сперва молчали,
Но челюсти залязгали: еда!

Остыли, распаленные вначале,
И разговоры начались тогда:
Те ястребов заслуги отмечали,
Те обелялись: дескать, не беда;
А те, о ястребах не зная толком,
Сочли, что лучше выпить тихомолком.

Но комом в горле встал один вопрос —
О Фолье и Гильельмо, бывших в ссоре.
Тут Дониджи словом мир принес,
Сказав Гильельмо: «Позабудь о горе.
Не принимая ничего всерьез,
В том утешенье обретешь ты вскоре.
Подобно мне посдержаннее будь:
О ястребе я не грущу ничуть».

Такие речи сладостного стиля
Пришлись Гильельмо явно по нутру.
Он добр душою был и без усилья
Смог помириться с Фолье на пиру.
Он молвил кротко, как обретший крылья:
«Мне ссориться с тобою не к добру,

Так пусть раздор наш миром завершится».
Потом ко сну все стали расходиться.

Уже садилось солнце в океан.
– А Пульчи где? – Луиджи возвратился,
Корона – за столом и, верно, пьян;
А Джансимоне, этот удалился
К керамике своей, уж больно рьян.
Тут всяк, навеселе, разговорился
И стрекотал без удержу притом
За кубками, что пенились вином.

А что в ночной им снилось тишине,
О том неплохо бы поведать были,
Поскольку знаю я, что мы во сне
Наверстываем то, что упустили.
Поспят до девяти, а завтра мне
Угодно будет, дабы поудили.
Так мы, приятель, время проведем
И сто созвучий сахарных найдем.

Пир, или Пьяницы

Капитоло I

Капитоло II

Капитоло III

Капитоло IV

Капитоло V

Капитоло VI

Капитоло VII

Капитоло VIII

В те дни, когда, свой прежний цвет теряя,
Листва желтеет, и близка зима,
И всё тускнеет, словно отгорая;

Когда крестьянин, тот, что груб весьма,
Награды ждет за летние работы
И смотрит, не пусты ли закрома,

За уходящий год ведет подсчеты

Своих прибытков или же утрат,
Надеждою венчая все заботы;

И видит Вакх, как спелый виноград
Сбирают на полях с его подмогой,
И каждый тем трудам немало рад,

Тогда я, дней пробыв в Каредже много,
Где отдыхал, как это повелось,
В свой город возвращался той дорогой,

Какую выбирал не на авось
(Всегда благоразумно, полагаю,
Лишь прямиком ходить, не вкривь да вкось),

Близка Флоренция, одолеваю
Врата Фаэнцы, радость затая,
Что вот уже и кров свой обретаю;

Как вдруг увидел на дороге я
Людей, и столько, что сочтешь едва ли,
Такая набралась там толчея.
Они болтали, рта не закрывали,
Знать, новости имело большинство,

Наперебой друг с другом толковали.

Средь них тотчас приметил одного,
С которым от поры своей невинной
Я в дружбе был, теперь узнал его.

Приблизился и молвил: «Бартолино,
Куда же ты бежишь и весь народ,
И что такой поспешности причиной?

Какое вожделенье вас ведет?
Помедли, не сочти же просьбу шуткой».
От слов моих остановился тот

И этим был подобен птице чуткой,
Что, слыша голоса собратьев-птах,
Полет прервав, слетает к ним минуткой.

Тот, хоть с трудом держался на ногах,
А всё ж остановил свой шаг потешный,
Каким дотоле шел он впопыхах.

«Всё, что услышать жаждешь, друг сердечный,
Скажу тебе, как и причину ту,

По коей мы идем, и столь поспешно.

К Рифреди направляемся Мосту,
Чтоб у Джаннесси там за бочкой бочку
Опорожнять, забыв про маету.

Всяк хочет выпить и не в одиночку,
И оттого-то мчимся прямиком
Быстрее птиц, отвергнув проволочку.

Уж делла Спада с Басою-дружком,
Со всей своей ватагой неуклюжей
Пришли туда и всё им нипочем.
Такого оскорбленья не стерплю же,
Ведь обещали взять меня с собой,
И потому я негодую дюже.

Пусть греческим зальются там с лихвой,
Не знаю как, но пьют с двойною силой
И так-то жрут, что, право, боже мой!

Пусть древним подражают как им мило,
Изобличится правдой всяко зло:

Уж одного подагра надломила».

Тогда прервал его я: «Бартоло,
А кто это здесь рядом с Ромитуццо?»
И тот ответил: «Весел он зело,

Вина «противник», где слова найдутся,
Чтоб дать тебе подробнейший доклад
О том, кто носит имя Ачинуццо!

Сухие губы, в глотке сущий ад,
Едва ли он, пока еще не пьяный,
Хоть слово молвит, чтоб не невпопад».

«А кто это щекастый и румяный?
Кто двое с ним в плащах, что зрит мой взор?»
И он мне: «Все носители сутаны.

Толстяк – Антеллы доблестный приор.
Покажется по виду неопрятным,
Без чарки не выходит он на двор.

Другой, чуть позади, с лицом приятным
И с носом, что так странно заострен —

Он также рай в вине находит знатном.

То фьезоланский пастырь, носит он
С собою чашу для причастья всюду,
И капеллан с ним рядом, сер Антон.
Привержены священному сосуду,
Они не разлучатся с ним, поверь,
О прочих говорить тебе не буду.

Всегда он с ними будет, как теперь,
В какой бы край они ни заходили,
Стучаться будут с ним в любую дверь.

Когда же упокоятся в могиле,
Положат с ними эту чашу в гроб,
Чтоб и по смерти радости вкусили.

Пусть завещание составит поп!
Но видишь, все они остановились,
Стал проповедовать монаший скоп.

Созвать своих каноников потщились,
И братья все обстали их кружком,
Меж тем плащами добрыми покрылись,

Ему же чаша служит колпаком».

Стыдясь отчасти и смеясь отчасти,
На них взирал и слушал речи те
Я словно тот, кто у мечты во власти.

Как вдруг, томясь от жажды, в маете,
Один промчался мимо той дорогой.
Я вмиг его узнал по хромоте.

К нему воззвал: «Постой, о быстроногий,
Едва ль поспеет за тобою пард,
Помедли здесь со мною хоть немного».

Тот бег замедлил, свой уняв азарт,
Как конь, который сдержан узденицей.
И я ему: «Путь добрый, Адовард!»
А он: «Меня так звать уж не годится,
Впредь жажда имя мне, она дана
От Бога людям, в пору ль усомниться:

Столь ценна, благородна и славна;
Наш диспут ныне прения возбудит,
Сомнения возникнут в нем сполна.

Коль жажда к питию изрядно нудит,

То сладостна она, я признаю,
На том и решена дилемма будет.

Я жажду натуральную свою
Унять вовек, пожалуй, не сумею,
Она всё крепче, сколько я ни пью,

Подобно баснословному Антею,
Что, падая, вновь набирался сил,
Чем больше пью, тем паче вожделею.

Поскольку жажды погашает пыл
Природная вода, не пью я воду,
Лишь вкус вина мне неизменно мил.

Вином упьюсь, забуду я невзгоду,
Как прежде пил, так буду пить и впредь,
И выше блага я не ведал сроду.

Ты можешь по башке меня огреть
Дубиной, коли жаждать перестану,
Пусть смерть тогда меня поймает в сеть!»

Он в гневе говорил и, верно, спьяну,
Я слушал, преодолевая стыд;

Тут обратился Бартоло к буяну:

«Где голос потерял ты, паразит?»
И тот с трудом ответил: «В Сан Джованни,
Приорство там немало мне вредит.
Как удержаться, если я на грани,
От этого треббьяно? Весь горю,
Раскаяния чужд и покаяний.

Ничем я не обязан алтарю,
И коль умру, не будет сожалений,
Не будет сожалений, повторю.

Мое искусство – путь к могильной сени,
Смерть от него – венец всех дней моих».
Сказав, умчался точно ветр осенний.

Тут следом шедшего узнал я вмиг.
Как прочие, он также шел в угаре,
А пил обыкновенно за двоих,

С власами редкими и склонный к сваре.
«О Грасселино, – речь была моя, —

Ты честь и слава дома Адимари,

Что, в путь пустился ради пития?»
И он мне: «Не дивись, что будто крылья
В пути столь долгом обретаю я.

Проделал бы легко и сотню миль я
Такого ради, не почтя за труд».
Смолк и помчал, удвоивши усилья.

Я – Бартолино: «Посмотри, кто тут.
Скажи скорей о тех двоих, что следом,
Средь толчеи немыслимой, идут».

И тот: «А первый что, тебе неведом?
То Папи, родич мой; смеется, вот:
Он весел как всегда перед обедом.

Он вдвое больше заливает в рот,
Чем друг его; второго же, что сзади,
Как не узнать? В паландре он идет.
Ему бы стяг вручил я чести ради,
В питийственных делах он командир,
Как рыцаря почтить его бы кстати;

Стяжал он славу, выиграв турнир.

То Пандольфино, муж достопочтенный,

Столь храбро пьет он, что дивится мир».

Я честь ему воздал самозабвенно,

С почтеньем сняв свой головной убор,

И тот, как резвый струг, промчал мгновенно.

И вот он припустил во весь опор,

Ни шляпой не покрытый, ни беретом,

А был разгорячен и больно скор.

«Скажи о бегуне мне пылком этом,

Вот-вот, глядишь, он перейдет на рысь».

«Антон Мартельи – вижу по приметам:

Алеют щеки, губы запеклись,

Нос у него лиловый, ноздреватый;

Бутылки, склянки все ему сдались.

Ужель не помнишь, каково он в Прато,

За зверем мчась, однажды нашумел

И поднял куропаток сонм пернатый?

И то, что он нимало не скорбел,
Когда была украдена одежа
И полть всего, что до того имел?»

«А что за пьяная, скажи мне, рожа
Косит сейчас на тот и этот глаз?»
И он мне: «Такова, должно быть, кожа.

То Симончино Бьянко, дуропляс,
Шута на свете нету бесшабашней,
Вот левой, правой машет, разойдясь.

Его стихия – кутежи и шашни,
Он сводник преотменный, хоть куда,
Кабак ему милей, чем кров домашний».

«Кто тот, что с персиком идет сюда,
Тем самым обонянью угождая,
Хоть нос у самого забит всегда?»

«То Дзута, он портной, и пил бы, знаю,
Он только носом, до того упрям,
При этом ничего не отвергая.

Но в нашем стане это стыд и срам,

Грех против жажды, коя сводит челюсть!
Как вздумает, так пьет он тут и там.

Когда же пьет, болтает так, что прелесть:
От скуки всем томиться суждено,
Словцо пускает, вовсе не прицелясь.

Идет в Рифреди с нами пить вино,
Напьемся вдоволь, я тому порукой,
С собой прихватим бочку заодно,

Такой запас не будет нам докукой.
Вот Кандиотто Теджиа при нем,
Так любит, что ведет его за руку;

Ночь в лавке скоротают за вином».

Закончил Бартолин повествованье,
И так как время мчится и не ждет,
Он обернулся, молвив: «До свиданья».

И я ему: «Постой, так не пойдет!
О прочих удостой меня ответом,
Чтоб каждого узнал я в свой черед.

Кто этот щеголяющий беретом
И кто на плечи скинул капюшон?»
И он: «Скажу, раз просишь ты об этом.

Вон видишь, тот, кто счастьем упоен —
Бертольд Корсини, друг мой закадычный,
Стаканами размахивает он.

Так пьет он, что мочу струит прилично,
Хватило бы для мельничных колес;
Идет он, видишь, с сыном как обычно.

Сынок-то возраст нежный перерос,
В нем зримы несомненные задатки:
Отменный весельчак и виносос.

Привил отец ему сии повадки
И рад успехам выучки своей,
Ведь ученик смекалистый и хваткий».

«А кто до подбородка и ноздрей
Распялил губы, как в огне недуга?»
«Скоссину, – молвил тот, – узнай ско-

рей, —

Ему совсем не от падучей туго,
Он так сугубой жаждою приперт,
Что идиотом выглядит пьянчуга».

«А кто это средь буйственных когорт
Проходит как нагруженное судно,
Когда маячит вожделенный порт?

Шатается, и кто он, вижу смутно,
Но явно жаждет клюв свой обмакнуть».
И тот: «Исполнить просьбу мне нетрудно.

Как тот, кто к цели довершит свой путь,
Так он, достигнув лучшего причала,
Шатнется так, чтоб жажду пошатнуть.

Он без вина подпорченный и вялый,
Припомни-ка Филиппо старика,
Он снова млад, как зазвенят бокалы».

К нему я ухо развернул слегка,

И он продолжил, видя, что хочу я
О новых всё узнать наверняка.

Так начал: «Я твое желанье чую,
Его читая на лице твоем,
Всех на словах подробно опишу я.

Вот шестеро, гляди, идут рядком,
Как ловчие, на след напавши четкий;
Все меж собою связаны родством.

Здесь Никколо ди Стьятта посередке,
Стать уксусом вину вовек не даст,
Тотчас оно в его исчезнет глотке.

Дьячетто справа, тоже пить горазд,
Великий труд он молча совершает
И, как верблюд, волочит свой балласт.

Спинельи ошуюю выступает,
И верится, что разом он сожрет
Чего и пара бочек не вмещает.

Кто сбоку, Джулиан Джинори тот,
Покажется, что щуплый он и тощий,
Но также до отвала ест и пьет,

И не смотри, что сух он точно мощи,
Ведь для него бочонок осушить,
Как станет дело, ничего нет проще.

И тот вот, за троих привыкший пить,
Коль не узнал, так то Джован Джунтини,
В застольях у него безмерна прыть.

Но о вине ты много слышал ныне,
Примеров хватит. Слева же от них
Идет Якопо твой де Марсуппини.

Хоть он и старше, знаю, остальных,
Всё ж больше жаждет, мы б его не смели
Звать хилым средь баталий питьевых.

Кто близ него, не видишь неужели,
Едва волочит он за шагом шаг?
То, я тебе скажу, Толстяк Спинелли!

Смотри, сколь отвратителен жирняк,
Вразвалочку ходить ему приятно.
А шуму-то наделал, знаешь как?

Ночной колпак (ты слышал, вероятно)

Из хлопка он напялил перед сном,
А утром снять не мог его обратно.

Зато мастак он тешиться вином,
В нем жажда день-деньской когтем скребется,
Наверно, ты сочтешь его глупцом.

К цветку пчела так рьяно не метнется,
Как он, учуя Вакха, к питию,
И жрет он так – уму не поддается;

В утробу ненасытную свою
Сыр, яйца, рыбу, мясо вполовину
С травой кидает, взяв в пример свинью.

Другой, что грязью так измазал спину,
Не тоньше будет, пьянству отдал дань,
Без хлеба жрет свою он мешанину.

И он Толстяк степенный, важный, глянь,
Он знает толк в вине и поросенке
И ввек не пьет, коль не налито всклянь.

На третьего взгляни, идет в сторонке:
Столь жирный не уместится в гурьбе,
В искусстве нашем он умелец тонкий.

Стеккуто оный, ничего себе!
Так пьет он в «Драгончино», что могу я
Едва ли описать, скажу тебе.

Наклюкавшись, тотчас на боковую,
Храп у него такой, такая вонь,
Не выдержишь, ну право, ни в какую.

Ещё всегда потеет, словно конь».

Всё на Стеккуто я смотрел, обжору,
Когда мой вождь: «Коль не обгоним их,
То к шапочному мы придем разбору».

Я подождать просил его в тот миг,
И просьбы так подействовали, к чуду,
Что слышал он приказ в словах моих.

Сказал он: «Я не против, жду покуда.
Но чем скорей отпустишь ты меня,
Тем больше я тебе обязан буду».

«Коль тяжко промедленье, – молвил

я, —
То ты ничем не будешь мне обязан.
О толстяке велась уж речь твоя».

И после шедший сбоку им указан,
Он великана мне напоминал,
На муле ехал, весь как будто связан.

Я с удивленьем на него взирал —
Мессером Пьеро издали казался,
Но Бельфраделло после в нем узнал.

Спросил я: «Бартоло, ты б мне признался,
Нелепо так скакать какой резон,
Почто он к остальным не приравнялся?

«Наверно, потому, что носит он
Столь длинные одежды, видно сразу:
Не вместится в идущий легион;

Иль потому, что сумка до отказа,
Иль потому, что отроду лентяй,
Иль потому, что у него проказа.

По виду, важных дум в нем через край,

Но ты не верь, на эту мнимость глядя,
Он глупое созданье, так и знай.

Он пьет как царь, всё время при параде,
И пьют, пожалуй, элегантно столь
Лишь в папской курии, не в нашем граде.

И всё же так идти ему позволь,
С ним не захочешь и водиться даже,
Узнав, что он глупец и полный ноль.

Вон видишь, тот, в грязи, как будто в саже,
Разжирей, как болван на карнавал?
Прославленный почтарь твой, дель Бантаджо.

Таверна у него, но в ней развал:
К исходу года осушит глотками
Запас тот, что на всех приберегал.

И то же в «Обезьяне», «Фиге», «Яме»:
Мальвазии невиданный расход,
И также в «Кандиотто» временами.

Когда пакет с письмом порой придет,

Что ражими торговцами доставлен,
Пьет с ними он за адресата счет.

А вот смотри, шатается, подавлен,
Чуть позади зигзагом правит шаг
Тот, кто как истый пьяница прославлен —

Стефано-маклер; сразу вдрызг мастак
Напиться он, и во мгновенье ока;
В пруду и рыбка не проворна так.

И не иначе: как взойдет с востока
Светило дня, лучами озарив
Весь мир наш и привольно, и широко,

Так он уж пьет, расслаблен и ленив;
Когда ж садится солнце, возле кружки
Лежит как хлам, не мертв, но и не жив.

Вон трое в предвкушении пирушки
Бегут за ним». – «Отколь? – «Из Погребка!
Как свиньи, что кидаются к кормушке.

Родные братья, не узнать пока!

Один что сойка, что сороки двое,
И пьют как их отец, наверняка.

Когда за стол они садятся трое,
Учтивее не встретишь ты людей,
И дивно красноречие такое.

Матвей Стьяттезе – тот, кто всех худей,
Покажется, что с виду он усталый,
Но это всё обман, уразумей;

Тот, кто из ямы вылезает, вялый,
Соломинкой не сдержан никакой —
Толстяк мессер Паголь, питух бывалый.

И каждый мучим жаждою такой,
Что осушили б всё, как супостаты,
На засуху обрекши мир земной.

А третий с ними – грамотей завзятый,
Он в теологии на высоте,
Стал доктором, ведь помогли ребята.

В мученьях обретал познанья те,
Спасителю тем самым подражая,

Который «Жажду!» молвил на кресте;

Нам сердце будто надвое взрывая,
Порой он проповедует, своим
Тяжелым шагом через боль ступая.

Он ест и пьет подобно тем двоим,
В его цитатах Августин Блаженный
Цветет, как и Святой Иероним.

Знаток латинян, греков совершенный,
Он ведает, как ширится внутри
Телячий жир, как пить вино, отменно.

Бригадка, хоть вспотела, посмотри,
Свои изрядно глотки просушила,
Спасет литровка лишь, а то и три.

Все вялые идут, угасла сила,
Но знают, что лекарство обретут
И из горла загасят бед горнило.

Пускай же с Божьей милостью идут».

Как зоркий ястреб на охоте птичьей
Бросает с неба взор на резвых псов,
Что кинулись за сбитой им добычей,

Так вождь на них смотрел и был готов
Процессию нагнать, откинув бремя
Всех объяснений и докучных слов.
Сказал он: «Друг, летит нещадно время.
Глоток едва ли тот урвет себе,
Кто не примчится во время со всеми.

Коль каждого решусь назвать в гурьбе,
То стану я болтать как балаболка,
И дня не хватит, я скажу тебе.

Вон вижу: сер Настаджо, волей долга
Тебе его успею показать,
Но как назло он ходит слишком долго.

Эй, сер Настаджо, времени не трать!»
Услышав, тот приблизился со смехом
И к Бартоло: «Что хочешь ты сказать?»

«Ах, сер Настаджо, ты своим неспехом
Убьешь меня, поведай кой-о-ком».
И увенчалась просьба та успехом.

Сдержал я нетерпение с трудом

И молвил: «Сер Настаджо, я тут новый
И мало с кем в толпе еще знаком».

И тот в ответ: «Отрады, право слово,
Нет большей для души моей простой,
Чем счастье удовольствовать другого.

Как вышел за предел я городской,
Так рассчитал дорожки все прямые
И здесь могу беседовать с тобой».

Пока он рек, увидел впереди я
Две башни, кои двигались; теперь
Я понял, что не знаю, кто такие.

И, обернувшись: «О, удостоверь, —
Вождя я вопросил в недоуменьи, —
То человек идет иль некий зверь?»
И вождь на это: «Брось свое сомненье,
Хотя и рослы свыше всяких мер,
Всё ни к чему здесь будет опасенье.

Тот, кто рябой, зовется Уливьер,
Другой же Аполлон твой Бальдовино;
Разнятся ростом, пьют же всем в при-

мер».

Когда второй приблизился детина,
Мой вождь ему: «О милый Аполлон,
Остановись, помедлить есть причина!

Моей перечить просьбе не резон!»
Тот нам промямлил что-то заикаясь,
Не разобрали то ни я, ни он.

Пока смотрел на них я, развлекаясь,
Обильно харкнул первый баламут,
Так звучно, что доселе слышу, каюсь.

И вождь мой: «Видишь, сколь скопилось тут
Великой жажды; какова ж блевота,
Когда они сполна в себя зальют!

Не пустяки, а памятное что-то,
Смеяться чтоб над ними иль болтать,
Не трать же времени». Но мне охота,

Читатель, об одном тебе сказать,
И не дивись, мала моя отвага,
И, верно, было б лучше промолчать.

Как встарь, когда сошла на землю влага
Плевком громадным на эмаль песка,
С водою жар сопрягся, и на благо

Верховной силой, шедшей свысока,
Лягушка зародилась в той водице,
Так вот теперь явилась из плевка.
К нам обернулся Уливьер и сице
Промолвил: «Мне б нутро ополоснуть,
Чтоб булькало слышнее». «Ох, тупица!»

Две тени те, помедлив с нами чуть,
Возобновили шаг свой великаний,
Исчезнув с глаз как молнье не блеснуть.

Тут вождь мой указал мне взмахом длани
Другого, что был в кляксах от чернил.
«Нотариус, – спросил я, – друг писаний?»

«Нотариус, – Настаджо подтвердил, —
А что он, коль исправно подкрепится,

Не будет пьян, я б споры не водил.

Нотариальный акт им сотворится,
Какому Киприан иль Россо рад,
Хоть смыслом здравым там не пахнет, мнится».

Позвав, расцеловав его двукрат,
Промолвил вождь: «О сер мой Доменико,
Как мыши – сыр, так ты мне дорог, брат.

Держать тебя не стану, поелику
Идти поспешней жаждешь и быстрей,
А этой речью сбит ты с панталыку».

И, не ответив, удалился сей.
Вот пятеро как воедино слиты,
Один известен «тихостью» речей.

Как свиньи, кои с пастбища к корыту
Бегут, чтоб мешку жадно похлебать,
Так те спешили к цели деловито.

Как только к нам приблизились все пять,

Один промолвил: «Бог да будет с вами!»
Вождь крепко поспешил его обнять.
Уж прочие подобными словами
Хотели нас приветствовать, но тот
Опередил всех красными речами.

И сер мне, от смешка прикрывши рот,
Шепнул на ухо: «Это Строццо смелый,
Болтал еще в утробе, словоплет.

Скорее скажет «голова без тела»,
Где б надо «срубленная голова»,
И спорить с ним – бессмысленное дело.

Обычно вздорны все его слова,
А выпьет – складно вяжет он глаголы,
Признаюсь, что молва о том права.

Глядишь-глядишь, русло благой Терцоллы,
Пока он будет пить и говорить,
Иссохнет, как в июле суходолы.

А тот, кто мчится обок во всю прыть,
Не скажешь: «выпьет», скажешь: «в миг

единый
Всё залпом поспешит в нутро залить»,

Среди гуляк он прозван Белландино;
Вот Читто, Торнаквинчи и Паккин
Идут навстречу бравому Джунтино.

Закал у всей компании один:
Вдрызг вечно пьяны, только заявляют,
Что знают средство ото всех кручин.

Между собою споры затевают,
Но вот судья, что примиряет всех,
Хоть и не в меру горячи бывают.

И мне не удивителен твой смех», —
Так вождь мне. После ж: «Ну пора, до встречи!»
Оратор молвил и пустился в спех.
И я, и вождь, как бы лишившись речи,
Держали нить беседы что есть сил,
Как будто были там, где недалече

Свергает воды величавый Нил.

Как колокол, коль бить в него устанут,

Еще звенит, гуденье ж таково,
Что звук окрест на много миль растянут,

Вот так и Строццо уши до того
Нам оглушил своею речью странной,
Что слышать не могли мы ничего.

Когда очнулись, были как болваны,
И видим: двое, жаждая, спешат,
Слуга за ними, как один, все пьяны.

И вождь: «Столь предан не был и Ахат
Энею, как Беторию Антону
Сей Пекорачча, и слуга, и хват.

Так пес за зайцем не бежит по склону,
Как на охоте за дичиной он,
И угождает кушаньем патрону.

Слугой доволен названный Антон,
Роняет слюнки, ждет и не дождется,
А как он ест, и молвить не резон.

Когда Фортуна тылом обернется,
И Пекорачча неугоден вдруг,
Бедняга дуралеем остается.

А о питье их не скажу я, друг,
Считай, что вдвое больше жрут, и впору
Дивиться их обжорству всем вокруг.
И вот их родич, только разговору
О нем не стоит время уделять,
Не мог ты не признать сего обжору!

В искусстве нашем браво, так сказать,
Труда, науки долгою стезею
Сумел он совершенство достигать.

Еще, наверно, диспут вел с тобою
О Бельфраделло Бартоло, а он
Стал доктором поутру за едою.

Аньол Бандини: столь пригож, учен!
Хоть жирный, а в проворстве искушенный,
Идут с ним Пекорачча и Антон.

«А кто за ними, думами стесненный,
Поведай мне, – я у вождя спросил, —
С лицом багровым, потом орошенный?»

Вожатый мне на это возразил:
«Не думай, что багровый он, себе бы
Ошибку я сегодня не простил.

Как для овечки травка вместо хлеба,
Так мой Арриго пьет; лицо, гляди,
Горит в вине божественном, как небо».

«А кто это немного позади,
По виду он точь-в-точь тупая кляча,
Глазища совьи, челюсть впереди?»

«Да то от моны Бетты, твой ди Баччо,
Коль за столом узришь, каков гурман,
Сужденье поменяешь, не иначе.

Он в паразитстве преотменно рьян,
Слывет матерым, истым оглоедом,
И в лазарете б жрал он, был бы зван.

В питийстве долог счет его победам,
Такого б каждый опознать сумел…
Но не обижу я того, кто следом:

То в незакатной славе Боттичелл,
То жадный, ненасытный Боттичелли,

Пред ним и муха будет не у дел.

Забуду ль болтовню его ужели!
Коль на пирушку кто-то позовет,
Глухим не остается пустомеля:

Чуток он только приоткроет рот,
Не как во сне, а ловит что попало,
Обратно с полной бочкою идет.

И для него стыда как не бывало,
Жалеет лишь: мол, шея коротка,
Ему бы как у аиста пристала.

Он сытым не бывал наверняка
И с новыми гостями остается,
Проглоченное раструсив слегка.

Утроба же вместительней колодца,
Ты б видел! Груз не вынесет такой
И судно, что на запад понесется.

Но всё о нем; скажу о паре той,
Что вон идет ко сбору винограда,
Глянь: доблестью одарена с лихвой!

Вино им как проклятье и досада,

Один из ненасытных тех томим
Тоской о том, что не пришла награда.

Не смотрят прежде чем упиться в дым,
А лучше б на вино смотреть повесам;
Приятель то, Ридольфо Лотти с ним.

Приятель наш слывет прямым балбесом,
Под самый вакханалии финал
Прибавил двадцать восемь фунтов весом!

И что за диво, коли не снискал
Награды он? Стыжусь за проволочку,
Что он не венчан, словно в карнавал.

Другому же в одну приснилось ночку
(Под утро снится правда лишь одна),
Что, мол, не каплю вылили, а бочку.

Коль ярые враги они вина,
То и вино им тоже ворог ярый,
Чей горний пыл бьет в голову сполна.

Инжир, черешня – для гонимой пары,

Всё, что не даст отменного питья,
И каждый млад, вино ж – напиток старый».

К благому серу обернулся я:
«Скажи еще про пару мне другую,
Что рядом села», – речь была моя.

И вождь на это: «Уж толпа вплотную.
Без пояса, то Пиппо Джуньи мой,
Он медлит, удаль потеряв былую.

А Пандольфино с ним идет четой,
В игре нелегкой лук он распрямляет,
Спускаясь к дяде, что в питье герой.

Он фунт вина отнюдь не презирает
И в вакховых сраженьях верховод,
С достоинством ту должность исполняет.

Их жажда – не огонь, что сено жжет,
Не ложный пыл Бертольда, а природный
Великий жар, что силой всё возьмет.

Тот Пиппо истребитель превосходный

Вина: так им зальется удальски,
Что из башки выходит жар свободно;

И оттого в поту его виски».

Уж подходило солнце понемногу
К черте полудня, поглощая тень,
Как будто близилось к возку и рогу.

Народу прибывало: всем не лень!
Не столь густы муравы полевые,
Сколь толпище, что шло к Мосту в тот день.

Там были кривоногие, хромые,
Кто косоглазый, кто паршой порос,
Припадочные, хилые, блажные;

Одни, как херувимы, цвета роз,
Другие грыжу подвязали туго;
Вот веки рваны, вот приплюснут нос;

Пятнадцать или двадцать из их круга
Стаканы в охладителях несли,
Шли вместе, натыкаясь друг на друга.

Я также видел: перед нами шли

И те, что давят виноград удало.
Что было дальше, каждый мне внемли.

Один с другим судачили, но мало:
Как будто море, где за валом вал,
Бурлящая толпа их оттесняла.

Когда мы подошли, их вождь узнал
И подмигнул, тая в устах усмешку;
«Да здравствует бригада! – им сказал. —

Как хорошо вверху быть и в потешку,
Пред сбором винограда, пить вино,
Глотая залпом или вперемешку!»

Один ему: «Поешь ты мудрено».
Он говорил с трудом, слова глотая,
И после как отрезал: «Хватит, но!»

Обнять затем пытался краснобая
И прянул, но отброшен был волной
И обнял тех, кто рядом шел, у края.

Так пес, плывущий чрез поток речной,
Против теченья метит, но впустую,
Несется вниз, влекомый быстриной.

«О сер, мне назови его, прошу я,
Чтоб не стоял я точно дурачок».
Так я, и вождь измолвил речь такую:

То Люпичин Тедальди, мой дружок,
Ему я подмигнул, узрев при этом
Укропа на главе его пучок;

Багровый лик, глаза искрятся светом,
И на ногах стоит нетвердо он,
Но слушай, что он делал этим летом.

В жару, когда цикадный слышен звон,
С бригадой вместе (за столом сидели!)
Им был потоп нещадный учинен.

Все выплыть со стаканами сумели,
Лишь о своем стакане он грустил
И вышел налегке, без груза в теле.

Прискорбно прерван пир застольный был,
И сделалось причиной общей муки,
Что кто-то громко ветры испустил.

Под бульканье воды, под злые звуки
Воздвиглась буря; словно решето

Стаканы стали, не возьмешь и в руки.

Поднялся Люпичино и на то
Соседу сбоку молвил в раздраженьи:
«С тобою впредь не сядет уж никто.

Свершил бы ты такое прегрешенье
При древних предках, какова тогда
Была б расплата за твое смерденье?»

И тот ему: «И поделом беда:
Фасоли на обеде съели груды.
Вестимо, вздулось (ни к чему вражда!),

А жажду не залить из той посуды».
Тут Бенедетто слово взял, пия:
«Отец – вино (он молвил), и не чудо,

Что дети мы его, одна семья,
И значит, нам не след пылать враждою.
С тобой поспорю, Леонардо, я:

В вино коль погрузишься с головою,
То и наружу ты вино прольешь,
*А жажду погашают и водою».

Так он сказал, и пыл угаснул сплошь,
Все утешали Люпичино следом:
«Ты, Бенедетто, – молвили, – хорош».

Антею он (тот был его соседом):
«Ты пей из рук моих, я из твоих,
Ведь без вина и добрый лад неведом».

Так вскоре воцарился мир у них,
И знай, что с Геркулесом-Люпичино
Антей на пару выпил в тот же миг.

Как ястреб, нападая на дичину,
Царапает глаза, ее слепит,
Таков был Бенедетто-молодчина.

Мгновенно пробудился аппетит,
Не нужно ни укропа, ни фасоли,
Лягушек, крабов всяк вкусить спешит.

– О них не стану говорить я боле».
Сер «с Богом!» их напутствовал засим,
И те пошли так быстро, как дотоле.

И тут я повелел зрачкам своим,
Чтоб «лучника» другого созерцали;

Растрогался мой вождь тотчас пред ним,

Обнять пытался в жарких чувств накале
Цедителя того, не преуспел:
Им животы обоим помешали.

Три раза он обнять его хотел,
Три раза простирал к нему он длани,
Три раза только тронуть грудь сумел.

И молвил: «Как толкуют горожане
Из окон, на углах между собой,
Поговорим о том вот, кто в сутане.

То стийский пастырь, милый, дорогой!
Из Казентино вышел он, конечно,
Чтобы вина залить в себя с лихвой».

«Ты прав отчасти, – отвечал нам встречный, —
Иду я в баню, чтобы наверстать
Ту жажду, что утратил бессердечно.

Хоть за двоих привык я выпивать,
Но (прежде не было) во мне застряло,

Едва глотков я сделал двадцать пять.

Я принял в Казентино средств немало,
Но снова возвратился диабет,
И тысяча лекарств не помогала.

Затем-то и спешу другим вослед,
Чтоб лихорадку обрести в итоге,
И жаждою да буду я согрет!

И всё ж не вышло – я теперь убогий,
Земная жизнь, твои постылы дни».
И сер: «На половине ты дороги;

То, что утратил, Бог тебе верни!»

Как с молоком, уже прокисшим, кадка
Колеблется, трясется так и сяк,
Когда ее несут походкой шаткой,

Так у попа, что шел вперекосяк,
Потряхивались полушарья зада,
То высоко, то низко, бряк да бряк.

Как юноша стакан несет с бравадой,
В вино свой цепкий ноготь погрузив,
Загнувши перст, дабы держать как

надо,

Так пастырь хлопал пузом, ниспустив
Свои кальсоны, обнажив колени,
Искал он жажду, шаг укоротив.

Мы взоры подвели без промедлений
Ему за спину, видим: тяжкий пот
На ж… проступил, как у оленя.

Но что в своей кошелке он несет?
Сардельки вижу, сыра круг, колбаски,
Селедка также посередке прет,

Анчоуса четыре в общей связке
И всё, что приготовил он в поту:
Ни описать пером, ни молвить в сказке!

Так пастырь гордо шел сквозь тесноту,
Танцуя задом, что звенел трубою,
Со смрадом, что снести невмоготу.

А следом – некто с рожею рябою,
Жрун, у кого во рту веретено,
Пред ним себя сочтешь ты пустельгою.

«Бот поп Арлотто, всуе же грешно
То имя поминать, ведь всякий знает
(Он мокрый, как ведро!), не мудрено.

На Таинстве колен не преклоняет,
Коль в чаше хилое вино на вкус,
Ведь Бог в таком, он мнит, не пребывает.

Как встарь против природы Иисус
Священным чудом задержал светило,
Так с другом он, приняв изрядный груз,

Вдруг ночь остановил, что тьму сгустила
(Ты б только видел!), новый день смешав
Со следующей ночью. Вот так сила!

На первый день они открыли шкаф,
Сочтя его окном, затем в постели
Легли опять, лишь темень увидав.

Господь изволил, дабы не храпели,
И дома показал им свет дневной,
А то б валялись как без духа в теле.

На третий день воскресли, на второй
Будил их свет, однако же напрасно,
На третий день умчался сон хмельной».
Так этот пастырь проходил прекрасный
Меж теми, о которых говорим.
Тут на другого взведши очи ясны,

Спросил я: «Сер Жирняк, а кто засим
С шестью или семью идет в компашке,
Что, словно стражи, неразлучны с ним?

Расставил ноги (странные замашки!),
Сер Пузо, почему идет он так,
Как мальчик, у кого в штанах какашки?

На этом поэма обрывается.

Амбра

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

Умчалось прочь благое время года,
Созревшие плоды сорвали с веток,
И лес, лишенный лиственного свода,
Уж не густой, стоял, угрюм и редок,
Была не по охотникам погода:
Ни троп не видно, ни звериных меток;
Не бегал зверь, а под листвой сопрелой
Скрывался в тайных логовах умело.

Лавр красовался среди сухостоя
И куст Киприды в аромате нежном;
Под белой шапкой проступала хвоя,
Сгибались ветви под покровом снежным;

Рос кипарис, пичуг ветвями кроя,
И ветер бил по соснам безмятежным;
Руки и можжевельник не уколет,
Коль кто-нибудь сорвать его изволит.

Олива гордо высится у склона,
Под ветром то бела, то зеленеет.
К деревьям тем природа благосклонна,
Но к остальным любовь ее скудеет.
Уж пилигримы-птицы утомленно
Летят за море, где весною веет,
Их провожают взглядом нереиды,
Тритоны и различных чудищ виды.

Господству мрака землю обрекая,
Спустилась Ночь, коротких дней темница,
И, ореолом пламенным сверкая,
Уже повозка звездная лучится;
Из Океана дышло поднимая,
Свет разлила златая колесница,
И хладный Орион с просторов неба
Мечом грозящим изгоняет Феба.

Сопровождают колесницу Бденья,
И Стражи, и проворные Заботы,
И Сон (хоть те могучи, без сомненья,
С докучными он быстро сводит счеты);
За ними поспешают Сновиденья,
Морочат нас их ложные щедроты:
Здоровье в них воображает хворый,
А бедный – праздник и богатства горы.

Несчастен тот, кто ночью сна не знает
И наступленья дня желает страстно,
Кого желанье шпорой понукает,
Суля грядущий день, терзает властно;
И даже если вежды он смыкает,
От горьких дум всё страждет ежечасно,
То спит, то нет и, временем обманут,
Мнит: час ночной в столетие растянут.

Несчастен тот, кто ночь в открытом море

Встречает средь бушующего лона,
И судно курс теряет с ветром в споре,
И волны бьют, грохочут исступленно,
С обетами взывает он к Авроре,
Моля покинуть старого Тифона,
Мгновения считает безутешно
И тихий шаг клянет Ночи неспешной.

Куда приятней радостным влюбленным
Зимой холодной ночи проводить:
Ночь кажется им мигом просветленным,
А хмурый день всё медлит уходить!
Уж птицы этим временем студеным
Успели оперение сменить,
И каждая заботится о месте.
Но как их петь мне, не скажу по чести.

Вот журавли курлычут в небе сером,
Красивым клином на ночлег спешат,
Последние пред вожака примером
Вытягивают шею, мельтешат;
Рассаживаются таким манером:

Те спят в полях, а те дозор вершат,
Покрыли птицы долы и озера,
А скольких видов – сосчитать не скоро.

Орел парящий, над прудом летая,
Грозя пичугам трепетным, кружится.
Взметнулись птицы, гомон нагнетая,
Но камнем хищник злой на них стремится;
Ту, что отбилась от пернатой стаи,
Когтями рвет Юпитерова птица,
Беспечной был удел ее неведом:
Юпитер, мнила, мчит за Ганимедом.

Повеялся Зефир на Кипр далекий,
Где с Флорой в травах водит хороводы,
А здесь Борей и Аквилон жестокий
Одели небо в темень непогоды;
И скованные крепким льдом потоки
В томлении свои сдержали воды,
В них рыбы, под покровом серебристым,
Подобны мошкам в янтаре лучистом.

Гора, что Кавра супротив порывам
Отринула цветочный свой покров,
Казалась великаном горделивым,
Увенчанным короной облаков;
По раменам, белеющим с отливом,
И по груди, где в гущине клоков
Стелилась борода, был лед хрустальный,
А очи, нос – ручей, от стуж кристальный.

Высокие виски главы пространной
Гирляндой облаков овеял Нот;
Борей, устав от гонки непрестанной,
На белой круче прикорнул и ждет;
А Нот на крыльях, влажный, окаянный,
Гнал облака как белорунный скот;
Вплоть до Морелло, легкий иль тяжелый,
Грозит он затопить, заснежить долы.

Покинул эфиопов Австр летучий
И жажду утолил в Тирренском море,
Впитал, как губка, влагу через тучи;

И все равнины он обрек на горе:
Поднялись реки грозно и могуче
От таянья снегов, и на просторе
Разлились разом, друг на друга грянув,
Из древних русел на свободу прянув.

Так отчий Океан они встречали,
Виски свои увив морской капустой;
Им праздным гулом скалы отвечали;
И было чрево взбухшее не пусто:
Тот гнев, что много дней назад зачали,
На побережья выплеснули густо
И, пенясь, вражьи рушили плотины,
Не почитая свой предел старинный.

Не долгою стезей, для них привычной,
Не как змея, а бурною лавиной
Они стремились, ширясь безгранично,
В отцово лоно, слившись воедино.
Итак, дорогой новой, необычной
Бежали реки и волной бесчинной
Друг с другом разговоры заводили,
Искали устья и не находили.

Когда же вновь, раздувшимся, беспутным,
Им приходилось сжаться между гор,
Бег замедляли и в бурленье мутном
С землей мешали ярых волн напор.
В ущелье было тесно рекам смутным,
Из скальных глыб там ширился затор,
И волны бились об него с размаху;
Смотрел пастух и предавался страху.

Как твердь земли дрожит и тяжко дышит
Внутри пустого, высохшего чрева
И шумно пламенем и дымом пышет
Из узкого разверзшегося зева,
И ближняя Вольтерра в страхе слышит
Тот жуткий треск прорвавшегося гнева,
Дождей озера вспененные просят
И выше дым от вод своих возносят, —

Так эти хляби, яростны, жестоки,
Брега, им супротивные, глотали,

Но до краев свершив разлив широкий,
Себя как будто вдоволь напитали
И прянули назад, сошли потоки,
А горы вместо берегов им стали;
Под буреломом поднялись озера
И склоны гор опустошили скоро.

Крестьяне, видя, что дела их плохи,
На хлевах отпирают все засовы,
Хватают люльки, в коих плачут крохи,
Постарше дети вслед бежать готовы;
Спасают шерсть и лён в переполохе,
А ветхий скарб уносит вал суровый,
Плывут быки, барахтаются свиньи,
А овцы тонут в гибельной пучине.

И, обездоленный, на крыше кто-то
Глядит, как все труды и достоянье
Вмиг исчезают средь водоворота,
Но, не теряя самообладанья,
Молчит он, не ведет потерям счета,
Спасенью рад и позабыл страданья,
От остальных напастей он не стонет,

Мысль о спасенье все другие гонит.

А рыбам настоящее раздолье
Резвиться, проплывая по лугам,
Их древней жажды увлекает воля
Дивиться небывалым берегам
И разоренью посредине поля,
Руинам зданий, где и тут и там
Им как преграда стены под водою, —
Все видят, и беда им не бедою.

Так и Омброне, страстью распаленный,
Замкнул в объятьях Амбру, островок;
Пленился Амброй Лавр во время оно,
Ревнивый же соперник изнемог.
Была к дриаде Амбре благосклонна
Делосская богиня, но не впрок
Пришлись той быстрота ее и меткость,
Хоть дивна и скромна была на редкость.

В минувшие года в дриаду эту
Влюбился Лавр, пастух с окрестных взгорий,

Невинный, он любви поддался свету,
И пламя в грудь ему проникло вскоре.
Однажды, обнаженная, по лету
Вошла в Омброне нимфа на просторе;
Сын Апеннин, он был надменен нравом
Под стать ста братьям-рекам величавым.

Она и погрузиться не успела
В прохладу вод, отрадных в летний зной,
Как вдруг, пленясь красой нагого тела,
Из грота вышел гордый бог речной,
И страсть в нем, обнаженном, закипела,
Он рог кривой держал в руке десной,
Чтоб Фебовы лучи главы не грели,
На нем венок из бука был и ели.

Вот он подкрался в зарослях, безмолвный,
Туда, где быть дриаде довелось.
Не слышала она – ласкались волны,
И о любви шептал ей тихий плес.

Цель так близка, что бог, желанья полный,
Мнил ухватить за прядь златых волос
И сжать в объятьях нимфу дорогую,
Сам обнаженный, красоту нагую.

Как если праздный рыболов ошибкой
С ячейкой редкой ставит сети в струях,
В них угодив, всё ж ускользает рыбка,
И – прочь, теперь минуя за версту их, —
Так и она, лишь бог на глади зыбкой
Открылся ей, с рогами и в чешуях,
Метнулась, но не медлил тот ни малость,
И прядь волос в руке его осталась.

Босая и нагая, вся в испуге,
Она в пучину прыгнула ретиво,
Оставив платье, стрелы, лук упругий,
Презрев и терн, и крутизну обрыва.
А бог стоял, страдая, как в недуге,
Сжав кулаки, и ввысь воззрел гневливо.
Он руку проклинал: мол, так жесток

он,
Коль вырвал у нее златистый локон!

И сетовал он горько: «О десница,
Скора была ты вырвать эту прядь,
А тело, в коем вся услада, мнится,
Увы, была не в силах ты поймать!»
От промаха досадного крушится
И веря в то, что сможет обладать
Тем, что утратил, он кричит, взывая:
«О нимфа, я – река – томлюсь, пылая!

Ты глубину моей пучины хладной
Желанием слепым смогла возжечь,
Почто же, как с волной моей отрадной,
Со мною не желаешь ты возлечь?
Ты любишь тень мою, пьешь влагу жадно,
Посмеешь ли пещерой пренебречь?
Тебе приятно всё мое, но только
Я, бог, сын Апеннин, не люб нисколько».

При пенях сих, не поведя и бровью,

Бежала нимфа, страх придал ей крылья.
А быстрый бог, снедаемый любовью,
За ней гонясь, удваивал усилья.
И терн, и скалы обагряя кровью,
Изранила стопы она о былья,
А тот пылает, весь исходит по́том,
Дивясь нагим беглянкиным красотам.

Трепещет Амбра, робка и стыдлива,
Быстрее ветра мчится по оврагам,
Язвит ей ноги белые крапива,
Но бегство всё ж она считает благом.
И зрит Омброне: ведь быстра на диво
И всё недостижимей с каждым шагом;
Несется через луг в такой уж дали,
Что все надежды разом пропадали.

Когда по скалам острым и жестоким
Между камнями нимфа пробиралась,
Бег задержала, и огнем высоким
Надежда в сердце бога загоралась.
Несчастный, перед долом он широким
Остановился, ощутив усталость,

Не мог бежать равнинным тем простором,
Преследовал мечтой ее и взором.

Что делать богу? Девы лучезарной
Не суждено настичь ему в погоне.
Чем недоступней плод любви коварной,
Тем крепче сердце связано в полоне.
Но вот пред нимфой встал могучий Арно,
С которым волны сочетал Омброне,
Сливаясь с ним; себя он утешает,
Угасшие надежды воскрешает.

И восклицает: «Чрез простор огромный,
Цвет рек тосканских, Арно, ты бежишь,
Я ж по горам и по дубраве темной
Гонюсь за нимфой, что быстра, как стриж.
Она мне травит сердце страстью томной,
Ко мне не зная жалости, верни ж

Ты мне ее, нет у меня надежды,
И бегу резвой положи рубеж ты.

Омброне я, моим прозрачным водам
Радушно здесь приют даруешь ты
В своих глубинах, и степенным ходом,
Надменный, презираешь ты мосты,
Вот прядь в руке – лишь тем владею плодом
Моих погонь и страстной маеты,
Северный знак; надеюсь на тебя лишь,
Что мне поможешь, боль мою умалишь».

Проникшись состраданием к Омброне,
Внял брату Арно и не только внял,
А вздулся весь и, став сродни препоне
Прекрасной Амбре, хлябь свою поднял.
И дева содрогнулась в новом стоне,
Страх в грудь проник, ей душу наполнял.
Омброне – сзади, впереди – пучина.
Что делать? Б сердце холод и кручина.

Как если лань бежит от гончей своры

И жадно дышит: близко выжлецы,
Вдруг впереди опасность видят взоры —
Тенета, что расставили ловцы,
Трепещет, свой исход предвидит скорый
И мечется в лесу во все концы,
Собак боится и сетей не менее,
Растерянная вся, кричит в смятении, —

Такая участь выпала дриаде:
Со всех сторон обложена она,
Растерянная, бога видит сзади,
А впереди – пучина как стена.
И воззвала с отчаяньем во взгляде:
«Богиня, коей я посвящена
Отцом своим и матушкою старой,
О чистая, мне избавленье даруй.

Прекрасная Диана, ты от века
Себя желаньем низким не пятнала,
Воззри на нимфу под твоей опекой,
Меж двух богов, врагов своих, я встала!

Прошу лишь, чтоб мне смерть закрыла веки,
Я к Лавру чистую любовь познала,
К нему несите, ветры, глас мой слабый,
Коль он услышит, краше смерть была бы!»

Уста еще домолвить не успели,
Как дымом вся окутана была,
Вот белые стопы отяжелели,
И камнем в твердь земли она вросла.
Всё изменилось в превращенном теле,
Но можно видеть: мертвая скала
Всё ж сохранила девы очертанья
Как вечное о ней напоминанье.

Омброне, долгим бегом утомленный,
К желанной цели мчался напрямик,
Надеждой, новым пылом окрыленный,
Обнять ее рассчитывал в тот миг.
Но вдруг остановился бог влюбленный,
Пред ним утес неведомый возник,
И видя, что мечты его напрасны,

Он стал дивиться, скорбный и безгласный.

Как лань или иная тварь лесная,
Вдруг остановится перед оградой,
В смятении спасения не чая,
Боится прыгать, хоть и прыгнуть надо,
А гончих между тем всё ближе стая;
Терзается и мукой, и досадой,
И так как не под силу прыгнуть робкой,
Глядит, куда бежать, какою тропкой, —

Так быстрый бог речной остановился,
Смотрел на камень, полон состраданья,
И в камне том очам его явился
Прекрасный образ юного созданья.
Так в жалость пыл любовный претворился;
Слезами омывая изваянье,
Промолвил он: «О Амбра, стан твой стройный

Век будет омывать мой ток спокойный.

В терзаньях не поверю я нимало,
Что состраданье мог бы вызвать я
В красавице, что от меня бежала.
Но к Амбре, что навеки не моя,
Мне сердце болью состраданье сжало.
И всё же горше мука бытия,
Что, словно бремя, надо мной нависла,
В бессмертной жизни нет отныне смысла.

Из стольких нимф на склонах гор окрестных,
У коих бы не встретил я отказ,
Избрал я ту, что краше их, прелестных,
И к ней одной я воспылал тотчас.
Поймал лишь прядь волос ее чудесных,
По свежим водам за беглянкой мчась,
Не удержал – была она проворней,
Осталась кровь священная на терне.

И вот она – утес немой прибрежный,

Чему виною этот пыл жестокий.
Не знаю, как смогу я, безутешный,
Жить без нее, и думаю о роке —
Таков теперь удел мой неизбежный:
Бессмертный бог, я мучусь, одинокий,
А если есть предел моей юдоли,
Он станет завершеньем вечной боли.

Познал я, как влюбленным наслажденья
С возлюбленными можно испытать —
Чем больше любишь, больше в них презренья!
Борей, прудов ты сковываешь гладь,
Скуй твердым льдом и вод моих теченье,
Чтоб, камнем став, я нимфе был под стать,
И чтоб лучами яркими светило
Мой панцирь ледяной не растопило».

Карнавальные песни
I. Песня торговцев конфортинками

Попробуйте, о донны, конфортинку,
Мы вам готовим сладкую начинку.

Как делать их, учить не нужно нас,
Лишь времени истратите запас,
Кто ж тратит время попусту, подчас
Худую за собой волочит крынку.

Резвитесь и когда настанут «дни»,
Не бойтесь срама или пачкотни:
Соседи помогают искони,
Проси «соседа», не тяня волынку.

Мальчишки в том искусстве хороши;
Готовим конфортинки от души,
Не жди задаром, веселись, спеши
И не жалей, любезные, кваттринку.

Рискнем в «бассетту»: вот колода карт,
Ждем ставок, пусть не гаснет в вас

азарт,
Мечите смело, улыбнется фарт,
И смело приступайте к поединку.

Кричи «без человека», «под» иль «над»,
Пускай трясешься с головы до пят,
А выйдет, так увидишь результат
Под визг такой, как будто режут свинку.

Кто ляжет «под», не сдержит гнева вспышку,
Гримасою напомнит он мартышку,
Глаза закатит, вздует губы лишку,
Захныкает, впадет в тоску-кручинку.

Кто победит, от счастья скачет тот,
Остротой колет, всем насмешки шлет;
Фортуне ж верит только идиот:
Сейчас – триумф, а завтра гни-ка спинку.

Игра «бассетта» – скорая зело,
Рубись хоть стоя, как на ум пришло,
Коль проиграешь, то недолго «зло»,

В охотку ж тем, кто слаб на перединку.

Игра есть распроклятая – «Поток»;
Коль хочешь выйти чистеньким, дружок,
Разумно делай ставки, думай впрок,
Крестьянам даже это не в новинку.

Кто в той игре поставит всё на кон,
«Поток» случится – застенает он,
Как раненый, и будет заклеймен
Беттини Сфорцой, падким на язвинку.

«Тащи» – игра дурна, «щипок» же част,
А «прямо» счастья никому не даст;
Успешен тот, кто ловок и глазаст,
Иль кто флорины копит под сурдинку.

Коль с нами соизволите сыграть,
Поставим на кон мы всю нашу кладь;
Не пожалеем, проиграв, отдать
И короб, а не только конфортинку.

II. Песня умащений

Валенсийцы удалые,
Кавалеры хоть куда,
Мы приехали сюда,
Флорентинки молодые.

В наших землях много дам,
Что изящны и красивы,
Но они не ровня вам,
Ликом всех их превзошли вы,
В вас краса и стать на диво,
Вы с любовью сроднены;
Ну а коль не влюблены,
Не для вас дары такие.

Что за чудо вам даем,
Сей сосудец благовоний!
Если скажут, дескать, врем,
Мы товар покажем донне,
Вот, смотрите, на ладони.
Запылает кончик вдруг,

Только поплывут вокруг
Ароматы неземные.

Здесь же масло, наш товар,
Запах крепок, тонок, сладок,
Одурманит силой чар
От макушки и до пяток,
В нем священен и остаток,
Что с кувшина, как из уст,
Каплет медленно, столь густ,
Значит, силы в нем большие.

Масло, верьте на сей счет,
Вмиг от хворостей избавит,
К вам милого привлечет
И тотчас колом поставит
То, что радость вам доставит,
Коль сильнее натереть;
Будут вам и днесь и впредь
Наслаждения благие.

Вот и мыльце, просто клад,
Столько пены, что радолье:
Будет лучше результат,

Коль возьмете вы поболе.
Не супружнее кольцо ли
Так стесняет нынче вас?
Вы намыльтесь, в добрый час,
И спадет – ведь не впервые!

Не побрезгуйте добром.
Донны, всё для вашей страсти,
Ну, на пробу изберем
Удивительные масти
Из далеких стран, на счастье,
Есть и мирра, есть бензой,
Коли мил товар такой,
Испытайте, дорогие.

III. Песня вафельщиков

Мы юны, и покажем каждой донне,
Как делать несравненные чьялдони.

В задымленную лавку завернем
Сим карнавальным распрекрасным днем;
Мы жадны, но пред тем как есть нач-

нем,
Покажем, как готовятся чьялдони.

Мы, донны, ищем всяческих забав,
Нам всем по вкусу карнавальный нрав,
А вот без вас любой из нас не здрав,
Научим, да не будете в уроне.

Воды в кастрюлю, и муки туда
Насыпьте, коли много – не беда,
Чтоб тесто было словно та вода
С жирком, что после варки макароньей.

Мешайте – если ж будет вам в тугу,
Тогда лишь правой, левой ни гу-гу,
Затем туда подсыпьте сахарку,
Притом мешайте крепче, неуклонней.

Работая, вам должно знать закон:
Чтоб тесто ваше не сбежало вон,
Испробовать, на пальчик взяв, резон,
Готово – суйте в форму на поддоне.

И раскалите; форма коль нова,
Ее промажьте не едва-едва,

Но тесто лейте мало вы сперва,
Захлопните затем без церемоний.

Коль форма вам привычна и стара,
Кладите вволю, будь рука щедра,
Зато прибытка после – с полведра
Для черпаков отменных, из Болоньи.
Намазав тесто, форму – на очаг,
Железные края сомкните так,
Чтобы вращать ее и так и сяк,
Чтоб раскалилась форма двусторонне.

Выходит часто тесто из щелей,
То не беда, вы жарьте веселей,
Когда ж поймете: хватит, поскорей
Откройте форму – вот вам и чьялдо-ни.

Коль выйдут мелки, будут таковы,
И коли слишком жирны, то увы,
Горяченькими вынимайте вы
И на платок кладите их суконный.

Возьмите в руку щетку иль скребок
И вычистите всякий уголок;

Ведь форма словно щучий-то роток,
Скребите, коль прилипнут к ней чьял-дони.

Коль с пылу с жару, значит, самый смак,
И не отведать их нельзя никак,
И если выйдут пухлыми – пустяк,
Сверните их, и будут вам чьялдони.

Себе и вам, о донны, их кладем,
Но если слишком мало вам даем,
Хватайте их болонским черпаком
Смелее и не стойте как тихони.

IV. Песня садовников

Садовничье искусство назубок
Мы знаем, донны, вдоль и поперек.

Коль вам сие занятье интересно,
Покажем чин по чину всё мы честно;
Тому, что не из хартии известно,
Природа вас научит в должный срок.

Для нужного берите результата

Младой побег, прямой, не суковатый,
С корою мягкой, гладкой, непримятой,
Его и прививайте, выйдет прок.

Разрежьте черенок сей до середки,
Затем, порядок соблюдая четкий,
Его крепите с помощью обмотки,
Но чтоб не треснул он, помилуй Бог.

Как можно дальше вглубь его направим,
Подвяжем доброй ивой и придавим,
Кору с корою накрепко составим,
Дабы внутри смешался с соком сок.

Впихните без раскола аккуратно
И шкурку отделите деликатно,
Росток вгоните, это так занятно,
И под корой прижмите черенок.

И проследите, чтобы связ был ладен,
И так его оставьте, скажем, на день,
Чтоб не был он расхристан иль раскладен,
Не отвлекайтесь даже на чуток.

Хотите, значит, прививать оливки,
Чтоб дивной вышли яблоки наливки,
И знать притом все тонкости прививки?
Ну что же, вам преподадим урок.
Есть способ, им удачно справим дело:
Надрежьте чуть верхушку и умело
По кругу шкурку удаляйте смело,
И там как раз, где вылезет глазок.

Глазок подрежьте и ножом водите,
Где дырку заготовили, смотрите,
Там шкурку вы немного распорите,
Вгоняйте внутрь, прижав корой росток.

С усердием работайте, со тщаньем,
Ведь спешка враг всем добрым начинаньям,
Чтоб вышло ладно, время чуть потянем,
Покуда сок не подсладится в срок.

Мы верим: вы освоили науку,
В садовом деле набивайте руку,

Весной и летом будет не в докуку,
И персики стряхнете в кузовок.

Хоть было древо дико, неприглядно,
Но вы его привили благодатно,
И вот оно изящно и нарядно.
И даст плоды – заслуженный итог.

Прививкой, донны, вы потешьте души,
Лишь потеплее было б да посуше,
Коль персики хотите или груши,
Дадим вам всё без всяких проволок.

V. Песня о циветте

Подобного вы, донны, не знавали:
Вот чудный зверь, циветтою прозвали.

Из дальних стран сюда к нам завезен,
Среди болот лишь обитает он,
И каждый замараться принужден,
Чьи руки хоть разок циветту брали.

Бескостно мясо, лакомо оно,
Но мясо – что! Нам лучшее дано.

Два пальца зверю всунем мы в гузно,
И мускусом пахнёт – не красота ли!

Итак, скребочком, всё нам нипочем,
Наружу мазь благую извлечем,
Обмажьтесь, донны, слово мы даем:
Сие вам не понравится едва ли.

Зверок испустит жидкость, ну так что ж,
Не сладок запах, как распознаешь,
Но хоть и гадок он, зато хорош:
Не брезгуйте, что чистыми не стали.

Должны вы распознать благую суть,
В нутро циветты прямо заглянуть,
Кто перемажется, не обессудь,
И не беда, коль платье замарали.

А коли не прибегните к скребку,
Хоть палец омочите в том соку,
Затем понюхать дайте муженьку
Для крепости ослабших гениталий.

Опасно всё же злоупотреблять,
Коль хочет отдохнуть дня три иль

пять,
Чтоб лишне муженька не донимать,
Когда вы соус сладостный изъяли.
Циветты сила, донны, вам с руки:
Бьет в нос и прочищает всем мозги,
Из тела боль изгонит напрямки,
Поможет сразу, если захворали.

Коль камни в почках, среди этих зол
Скорее наложите вы рассол
Там, где болит, миг – и недуг прошел,
Жар испарится так, что не видали.

Поможет забеременеть к тому ж,
Или… но хватит сказанного уж,
Попробуйте бальзам для тел и душ,
Узнаете, что мы вам не солгали.

Не захотите – так не продадим,
Чтоб лучше жить, потратьтесь перед сим,
Ну, не упрямьтесь, вам вручить хотим
Флакончик, что развеет все печали.

VI. Песня крестьянок

В карнавальной суматохе
Ну-ка, донны, кто неробок,
Мы мужей сегодня по бок,
Хоть без них дела и плохи.
Из Арчетри мы, простые,
Сельский труд наш благородный —
Соберем плоды, какие
Дарит край наш плодородный.
Мы учтивы, доброхотны
И мужей легко обставим,
Мы и вам плоды доставим —
Все в соку и все неплохи.
Огурцы, что с нашей грядки,
Сочны, толстеньки и зрелы,
Все пупырчаты и сладки,
И полезны, право дело;
Взяв двумя руками смело,
Шкурку легкую снимите,
В рот возьмите да сосите,

Будут трапезы неплохи.
Дыню срежем мы ко времени,
Тыква наливная сладка,
Бережем мы их для семени,
Не напрасна ведь посадка.
Красный язычок украдкой,
Крылья, ножки мним драконом,
Жаждущим и раздраженным;
Бойтесь, но не будьте плохи.
Вот бобы, глядите, сытны,
С ними в грязь мы не ударим,
Длинны, толсты, аппетитны;
Мы для вас их ладно сварим,
В общем, славно покухарим.
Ты возьми их да откушивай,
Да шелушку отшелушивай;
Навострен – дела неплохи.
Коль вкушают перед ужином
Сладость поданного плода —
Мним невежеством недюжинным:
Переваривать – невзгода.
Коль насыщена природа,

То довольно: вы вначале
Или после б испытали.
Коли так, не будьте плохи.
Взяв пример, плодами сими
Вы проучивайте мужа,
Мы-то вас одарим ими,
Все мы молоды к тому же;
Коли грубы с нами дюже,
Мы найдем чего другого.
Веселиться жаждем снова
В карнавальной суматохе.

VII. Вакхическая песня

Юность, как сладка она,
Миг – и канет беззаботно!
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Это Вакх и Ариадна,
Пылки, радостны, взгляни,
Наслажденья ловят жадно,
Ибо быстротечны дни.

Эти нимфы им сродни
Веселятся беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Вот толпа сатиров страстных,
Вожделея дев лесных,
Караулит их, прекрасных,
В гротах, в зарослях густых;
Вакх свой пыл вселяет в них,
Пляшут, скачут беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Рады нимфы очень скоро
Им поддаться на обман,
Чужд пристанища Амора
Лишь бесчувственный чурбан;
Им удел блаженный дан,
Льется песня беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Позади Силен тяжелый
Еле на осле трусит,

Хоть и старый, а не квелый,
Вечно весел, пьян и сыт,
На ногах уж не стоит,
Но смеется беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Царь Мидас плетется следом,
Злато – всё, что тронет он:
Богачу покой неведом
И отрады он лишен.
Кто наживой упоен,
Тот не пляшет беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.
Завтра опустеет нива —
Времени не превозмочь,
Стар и млад, ликуйте живо,
Нынче день, а завтра ночь;
Скуку мы прогоним прочь,
Справим праздник беззаботно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.

Славьте, юноши и донны,
Вакха и Амора днесь!
Танцы, песни, лютни звоны!
Наслаждайся, сердце, грезь!
Места нет недугам здесь!
Быть сему бесповоротно.
Хочешь – так живи вольготно:
Даль грядущего темна.

VIII. Песня семи планет

Мы семь планет и высоко парим,
Мы в мире горний промысел творим.

В нас благо всё, но в нас же и лишенье:
Тех обделяем, этих одаряем;
Зверь, человек, и камень, и растенье —
Мы движем всё и всем повелеваем;
Кто против нас, того мы сокрушаем,
Кто верует, того мы наградим.

Унылый, хилый, жалкий, нерадивый;
Богатый, знатный, важный и дородный;

Бесстрашный, лютый, быстрый и ретивый;

Могущественный, мудрый, благородный,

Витийствующий, лживый, сумасбродный —

Всяк в нашей власти, нами предводим.

Тобой, Венера, светлою и чистой,

В сердцах любовь и вежество рождается,

Кто тронет пламя той звезды лучистой,

Огнем ее мгновенно зажигается,

Зверь, птица, рыба – всё ей покоряется,

Чрез это мир мы обновленным зрим.

Последуем за благостной планидой,

О донны, вы нарядны, вы прекрасны,

Да будете вы взысканы Кипридой,

Ликуйте же, покуда лета красны,

Ведь ждать их возвращения напрасно,

Когда они растают, словно дым.

Пока в поре вы безмятежной, сладкой,

От слез и горьких мыслей отрешитесь.

Меж тем как длится радость жизни краткой,

Влюбляйтесь без оглядки, веселитесь,

Ведь почестей, богатства, согласитесь,

Не вымолит тот, кто хандрой томим.

IX. Песня цикад

Девушки начинают:

Цикады отвечают:

Донны мы, цветем красами,

Юны, свежи, перед вами.

Мы собрались веселиться

По обычью карнавала,

Пусть иной завистник злится

И болтает что попало.

Знаем, выпустит он жало,

Желчь прикрасив словесами.

Все мы жертвы околесиц!

Из-за сплетен мы несчастны,
И не только в летний месяц,
Круглый год мы им подвластны.
Нас пятнают ежечасно,
Как вы слышите и сами.

Такова природа наша,
Донны милые, поймите,
В том вина нередко ваша.
Вы порой стократ твердите,
А потом… потом храните
Тайну за семью замками.

Тот, кто резв, пусть убегает
От опасных сих подвохов.
Что вас, донны, заставляет
Доводить до смертных вздохов
Нас, несчастных пустобрехов,
Своенравьем и делами?
Девушки отвечают:

От ничтожных сплетен, право,
Будут ли красе уроны?
Вам, Любовь и Юность, слава!

Зависти – лишь боль да стоны.
Что ж, болтайте, пустозвоны,
Веселимся тем упрямей.

X. Песня перевернутых лиц

Всё всему вразрез идет —
Думай так или иначе,
Мы же движемся по-рачьи
Всё назад, а не вперед.
Нынче за спину, назад
Обратите взор нехмурый,
Пусть туда глаза глядят.
Мы – изменники Натуры;
Только дураки и дуры
Верят в то, что предстает.
Оправдаем без труда
Наше продвиженье задом,
Заявляя, что всегда
Жив обычай сплошь и рядом.
Делай так и тем же складом,
Как и весь честной народ.

Верим, что удастся нам
Тем манером продвигаться;
Персик приберешь к рукам,
Присмотрись пред тем как браться,
Щупай, трогай и приладься,
Ни стыда в том, ни хлопот.
Кто не обращает лик
И не ходит как пристало,
Тот тычка схлопочет вмиг;
Стерпит, словно не бывало,
Но запомнит, коли жало
Той обиды больно жжет.
Не дивитесь, коли так
Наши донны поступают.
Извратился ныне всяк,
В месяц раз у них бывает:
Раз за разом наплывает,
Так и всё вокруг идет.

XI. Песня пекарей

Мы пекари, о донны, каждый млад,

В искусстве нашем всё идет на лад.

Готовим караваи, кренделя мы
И чашечки печем, благие дамы,
Есть хлеб большой, а есть и малый самый,
Снаружи мягки, сладкий вкус таят.

И сахарные шишки с пирогами
Выделываем мы, узрите сами,
«Тверды» решите, тронув их руками,
Внутри же лучше, чем на первый взгляд.

Пусть предпочтут одни бобов покупку,
Мы растолчем их лучше, бросим в ступку,
Пестом раздавим прочную скорлупку,
Поводим с силой так, вперед, назад.

Как пышный хлеб испечь, то нам известно,
Еще белей, чем локон ваш прелестный,
По нраву будет, говорим вам честно,
Иных не пожелаете услад.

Мука должна быть лучшей, не иначе,
Просейте через сито с той задачей,
Чтоб чисто было, и водой горячей
Залейте после, помешав стократ.

Покрепче спины здесь нужны, подруги:
Сминайте тесто, ловки и упруги,
Пусть пот со лба закаплет от натуги,
И замесите, ждите результат.

Нужны для хлеба справные закваски,
Держите в теплом месте без опаски;
Хоть над кроватью – будет словно в сказке,
Всё по порядку – тесто выйдет клад.
Пред тем как печку раскалить, метлою
Сор выметайте, ибо там порою
Он остается с прежнею золою,
Иль хлеб ваш чистым будет уж навряд.

Почувствуйте, какой там жар таится,
Взбухает хлеб, выходит прочь водица,

Входя, был тверд, но мягким обратится,
Как мякиш, хлеб – любой такому рад.

Коль и жаркое сделать захотите,
Большую с малой печку совместите,
С единой дверцей как бы, но простите,
Не знаем, то ль все пекари творят.

О нашем ремесле на карнавале,
Благие донны, мы вам рассказали,
Чтоб этой штучкой рты вы ублажали,
А мы на свой всё сравниваем лад!

Анджело Полициано

Стансы на турнир
Книга первая

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

LXIV

LXV

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

LXXX

LXXXI

LXXXII

LXXXIII

LXXXIV

LXXXV

LXXXVI

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

XCI

XCII

XCIII

XCIV

XCV

XCVI

XCVII

XCVIII

XCIX

C

CI

CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

CVIII

CIX

CX

CXI

CXII

CXIII

CXIV

CXV

CXVI

CXVII

CXVIII

CXIX

CXX

CXXI

CXXII

CXXIII

CXXIV

CXXV

Величье празднеств и забав столицы,
Что краем славных тосков управляет,
И грозное владычество царицы,
Чей светоч третье небо просветляет,
И благородных игрищ вереницы
Мне смелый ум воспеть повелевает,

Чтоб имена героев, их свершенья
Не стерла Смерть, Судьба иль власть Забвенья.

О дивный бог, вливающий в сердца нам
Сквозь очи вожделения любви,
Питающийся плачем непрестанным
И сладкий яд рождающий в крови,
Ты жалуешь нас благом несказанным,
И чужды злого помыслы твои!
Амор, веди меня прямой тропою,
Мой низкий разум озари собою

И помоги нести мне тяжесть гнета,
Правь языком, рукою неуклонно,
Правь замыслом высокого полета.
И коль моленьям внемешь благосклонно,
Поведай, как поймал в свои тенета
Высокий ум тосканского барона,
Младого отпрыска этрусской Леды?
Как одержал столь славные победы?

И ты, о Лавр, под чьим широким кровом

Флоренции, вкушающей покой,
Не дрогнуть пред ненастием суровым
Иль Громовержца гневного рукой,
Услышь мой глас, дрожащий с каждым словом,
Укрой меня под сению благой;
Ты цель, причина всех моих желаний,
Цветущих от твоих благоуханий.

Ах, обретет ли силы для полета
Душа моя, что с самой колыбели,
Себе не чая лучшего оплота,
Живет тобой, чтоб струны зазвенели
И в песне, от нумидян до Боота,
От Инда до закатных вод, воспели
Счастливый род твой, дабы превратиться
Мне в лебедя из каркающей птицы?

Пока робею ввысь полет направить —
Подрезаны крыла у вдохновенья —
Позволь же брата твоего восславить,
Чьи новые трофеи, без сомненья,
Тебе не могут радость не доставить;

Как и ему, потеть мне на арене.
О бог любви, внушающий мне строки,
Подвигни сердце на полет высокий!

И коль не лжет молва нам, что Елена
Твой светлый дух, божественный Ахилл,
Любовной страсти причастила плена,
Как только он от персти воспарил,
Прощусь с твоей трубою дерзновенно
И на кифаре, сколько хватит сил,
На всю страну я буду славить рьяно
Любовный пыл и брани Джулиано.

В ту чудную, безоблачную пору,
Когда еще не тронул пух лица,
Наш Джулиано не внимал Амору,
Что сладким игом бременит сердца.
Беспечный, предавался он задору
И погонял лихого жеребца.
Из сицилийских стад был конь отборный,
Он спорил с ветром, быстрый и покорный.

То прыгал он с повадкой леопардьей,
То узкий круг на тропке делал конь,
И всадник, весь в охотничьем азарте,
Метал свой дротик в цель лесных погонь.
Свободным жил он и судьбины хартий
Не ведал, не предвидел тот огонь,
Что слезной станет для него юдолью,
И он смеялся над влюбленных болью.

О, сколько нимф по юноше вздыхало!
Но все их пени, горести и плачи
В груди надменной не могли нимало
Лед растопить, воспламенить – тем паче.
В лесах он так охотился, бывало,
С суровым, гордым видом – не иначе,
А чтобы не был зной ему докука,
Носил венок он из сосны и бука.

Когда же звезды на небе блистали,
Он возвращался, радостный, домой,
И девять сестр его сопровождали,
Напев ему внушая неземной,

Возвышенные песни пробуждали
Старинной добродетели устой.
Любовь считал он похотью и тленом,
Диане предавался и каменам.

А если видел он в слепом блужданье
Влюбленного, поникшего в кручине,
Что вызывает только состраданье,
Бредя покорно вслед своей врагине,
Покорствуя Амору в ожиданье
Двух светочей, как истинной святыни,
Кому лишь плач сужден в ярме жестоком, —
То горьким настигал его упреком:

«О жалкий, брось нелепое юродство,
Слепое заблужденье и растраву
И не питайся тленом сумасбродства,
Злой ленью или похотью лукавой.
То, что зовут любовью – есть господство
Безумия; ту сладкую отраву,
Коль молвить жестче, звать чумой пристало,

Злом радостным, что в сети мир поймало.

Как жалок тот, кто дамой в сеть заманен!
Не помышляя об иной отраде,
Грустит он или счастьем отуманен,
Ловя его в словечках иль во взгляде!
Лист на ветру не столь непостоянен —
Сто прихотей на дню забавы ради:
То прячется, то гонится за нами.
Прилив, отлив – сравню ее с волнами.

Расцветшая красавица подобна
Скале коварной, спрятанной на дне,
Или змее, меж трав скользящей, злобной,
Что сбросила покров свой по весне.
Ах, можно ль быть несчастней, коль способна
Она своей суровостью вполне
Измучить вас, ведь чем лицо прекрасней,
Тем больше фальши, тем она опасней!

В очах юниц – Аморовы привады,
Что похищают мужество тотчас;
Сглотнешь наживку, поглощая взгляды —
Глядишь, свободы дух в тебе угас;
Когда ж Амор летейские каскады
Забвения обрушит вдруг на нас,
Забудем и высокую природу,
И всю отвагу недругу в угоду.

Насколько же приятней без волнений
Преследовать зверей в столетних борах,
За гранью рва и замка укреплений
Выслеживать их в логовах и норах;
Зреть долы, холмы, красоту растений,
Ручьи и воздух чистый на просторах
Под пенье птиц и волн шумливых ропот
И ветерка в древесных кронах шепот!

Как сладко видеть коз, что на утесах
Умильно щиплют сочные былинки,
А горный пастырь, опершись на посох,

Дудит в свои нехитрые тростинки;
Красу земли на пашнях и покосах,
Плоды деревьев, словно на картинке,
Коров мычащих и овнов бодливых,
И спелой ржи волнение на нивах!

Вон грубый гуртовщик, открыв защелку,
Заводит стадо рунное в загон
И прутиком отнюдь не втихомолку
Отставших хлещет, погоняет он.
А вон виллан собрался на прополку
Или мотыжить комья принужден;
Крестьянка вон, без пояса, босая,
Идет, гусей под яром выпасая.

Я верю, также радовался жизни
Люд первобытный в веке золотом;
И не рыдали матери на тризне
О детях, ратным сгубленных трудом;
Еще ветрам не доверяли жизни,
Волов не тяготили мы ярмом,
Жилища дубом украшать умели,
Мед из ствола и желудь с ветки ели.

Еще злодейской гонкой за наживой
Мир первозданный не был обуян,
Свободно жили все, миролюбиво,
Без пахоты был урожай нам дан.
Но доле рок завидовал счастливой,
Не стало блага, был закон попран,
Лихая похоть к нам вселилась в груди,
Та, что любовью называют люди».

Так юноша заносчивый сверх меры
Святых влюбленных порицал везде.
Самодовольный, не давал он веры
Чужому плачу и чужой беде.
Но вот слуга Амора и Венеры,
Что пламенел, покорный их узде,
Воззвал к Амору: «Гнев свой справедливый
Яви, о бог, да сломится строптивый!»

И Купидон не пренебрег мольбами,
Он рассмеялся и изрек свирепо:
«Я что ль не бог? Или угасло пламя,
Что обнимает ширь земли и неба?
Юпитера я встарь облек рогами,

За Дафною заставил гнаться Феба,
Я с трона адова совлек Плутона.
Так избежать ли моего закона?

Велю – и тигр послушный не лютует,
Лев не рычит, уймет шипенье змей,
А человек в спокойствии толкует,
Что, мол, не для него ловушки клей!
Ужель моя божественность рискует,
Коль власть мою презрел отважный сей?
Что ж, поглядим, как выстоит несчастный
Перед очами девушки прекрасной».

Уже Зефир дыханием весенним
Украсил склоны, изморозь убрав,
И ласточка вернулась к милым сеням,
От перелета долгого устав,
И спозаранку сладкозвучным пеньем
Пичуги нарушали сон дубрав,
И мудрая пчела чуть свет кружила,
Собрать добычу сладкую спешила.

Когда в дупло спешат укрыться совы,
С рассветом, наш отважный Джулиано
На скакуна садится удалого
И мчится в лес с компанией избра́нной,
А сзади свора верная готова
Напасть на след, вынюхивая рьяно,
Здесь всё, что только нужно для охоты:
Рога, тенета, луки, пики, дроты.

Обхвачен лес отрядом бесшабашным.
Уж не дремать по логовам зверям —
От ужаса дрожат в смятеньи страшном:
Псы взяли след, псы рыщут тут и там.
На тропах – сети; с грохотом протяжным
Сливается и нарастает гам
Из свиста, гика, топота и лая;
Рога гремят, дубраву оглушая.

Такой же грохот сотрясает своды,
Когда Юпитер огнь метнет из тучи;

С таким же шумом низвергает воды
С крутых порогов грозный Нил кипучий;
Такой же страх объял латинян роды,
Как взвыл Мегеры адский горн могучий.
И звери – кто грызет себя, отчаясь,
Кто, хвост поджав, бежит не озираясь.

Рассеялась ретивая ватага:
Кто – к сети, кто на тесный встал проход,
Кто держит псов, а кто почел за благо
Их отпустить, кто их назад зовет,
Кто – во всю прыть по полю до оврага;
Иной, вооруженный, зверя ждет,
Иной залез на дерево с расчетом
Там притаиться с луком или дротом.

Точа клыки в свирепом ослепленье,
Вепрь ощетинился в своей ложбине;
Покинув гроты, робкие олени,
Ища спасенья, мчатся по равнине,
Лисою позабыты ухищренья
И зайцы – врассыпную по долине.

Всяк мелкий зверь спешит забраться в нору;
Петляет волк, обманывая свору,

Но всё ж ему не скрыться в глухомани,
Ведь резвых гончих не подводит нюх.
Дрожат пред ними трепетные лани,
У вепрей пред мастиффами испуг.
А Джулиано, весь в пылу желаний,
Покинув свиту, прянул во весь дух.
Как на крылах он в заросли помчался,
И горе зверю, что ему встречался.

Так в дебрях Гема или Пелиона
Охотились кентавры, мчась по склонам,
И смерть они несли во время оно
Медведям страшным, барсам разъяренным,
И зверь бежал, пылая исступленно,
В нем стыла кровь, когда безумным гоном
Неслись они, всё на пути ломая;
Дрожала чаща, топоту внимая.

Нельзя не любоваться Джулиано,
Несущимся сквозь дебри как стрела,
Гоня по чащам тварей неустанно:
Венок зеленый вкруг его чела,
Запылены власы, и лик румяный
Струя честно́го пота залила.
Такой-то час избрал Амор для мести,
И, нечего сказать, в удобном месте!

Он сотворил из воздуха руками
Прекрасный призрак лани горделивой,
С высоким лбом, с ветвистыми рогами,
Всю легкую и белую на диво.
И как перед дрожащими зверями,
Воспрял охотник и помчал ретиво,
Пришпорив скакуна, вослед за нею,
За мукою грядущею своею.

Осекся дрот, и в это же мгновенье
Он верный меч свой вытащил из ножен
И дал коню такое ускоренье,
Как будто торный путь в лесу проложен.

Замедлил зверь, являя утомленье,
Уже казалось, что успех возможен,
Что вот добычу схватит он победно,
Но тот метнулся и исчез бесследно.

Чем долее преследованье длится,
Тем больше понимает, что впустую.
Усталость тенью на него ложится,
Но не поймать добычу непростую.
В стигийских водах так Тантал томится:
Коль хочет пить – не взять волну речную,
Коль голоден – плоды, что были низко,
Вмиг отклонятся, и уже неблизко.

В погоне безнадежной Джулиано
Немало отдалился от отряда.
Цель далека, хоть всё ему желанна,
А конь без сил, коню дать отдых надо.
И вот пред ним цветущая поляна,
А средь поляны – дивная отрада:
Младая нимфа в белом одеянье
И нет как нет уже проворной лани.

Исчезла лань, но дела нет до лани
Охотнику, коль перед ним она.
Поводья натянув, он на поляне
Остановил лихого скакуна
И весь застыл в немом очарованье
Пред той, в ком красота воплощена.
И стан, и лик, и очи неземные
Заставили пылать его впервые.

Как если ловчий из норы пещерной
Детей тигрицы вздумает украсть,
Чрез лес гирканский в ярости безмерной
Летит она, чтоб окровавить пасть,
Но в беглом отраженье легковерно
Тигрят признает и, забыв напасть,
Застынет, медля пред виденьем мнимым,
Похитчик же уходит невредимым, —

Так Купидон, таясь под сенью взора,
Стрелу готовит, не жалея рук.
Он тетиву натягивает споро
Так, что сомкнулся кончиками лук,

Стремительно, до самого упора,
А в шуйце держит огнь любовных мук.
Стрела еще и цели не достигла,
А в сердце Джулиано боль проникла.

Как изменился он, когда мгновенно
В груди зажегся пламень благородный!
Как задрожало сердце уязвленно!
И тут же пот прошиб его холодный.
Так созерцал он жадно, дерзновенно
Глаза глазами в муке безысходной.
Не знал несчастный, что в сияньи оном
Приют был облюбован Купидоном.

Не знал он, что внутри Амор, желавший
Его покоя долгого лишить,
Его сетями накрепко связавший,
Чтоб раной потайною сокрушить.
Он – как охотник в сеть свою попавший,
Охоту не успевший довершить.
О лике, о власах он грезит сладко,
Божественное видит в них украдкой.

Вся белая, в покрове белоснежном,
Она себя цветами убрала,
И золотой волной над ликом нежным
Ложилась прядь вкруг гордого чела.
К ней ласков лес – в покое безмятежном
Он дарит ей улыбки без числа.
В ее движеньях царственность таится,
А вскинет вежды – буря усмирится.

От глаз ее покоем сладким веет,
Но в них пылает факел Купидона,
И там эфир тотчас же просветлеет,
Где только ни пройдет младая донна,
Лик радостью небесной не скудеет
В оправе бирючины, анемона.
Уста раскроет – нет ни дуновенья,
И дивной речи вторит птичье пенье.

С ней вместе Скромность следует честная,
К любому сердцу ключ она найдет,
И Благородство, рядом выступая,

Нет-нет ее походку переймет.
Пред нею низкая душа земная
Свои несовершенства познает.
Амор сердца сжигает без остатка
Ее улыбкой или речью сладкой.

Возьмет кифару – Талией предстанет,
Возьмет копье – Минерва зрится ныне,
А коль колчан привесит, лук натянет —
Диана, непорочная богиня.
Гнев на лице прекрасном не проглянет,
Пред нею в прах повергнется Гордыня,
В эскорте добродетели ей служат,
С Изяществом и с Красотою дружат.

На травах сидя сочных и зеленых,
Она гирлянду радостно плела
Из тех цветов, природой сотворенных,
Которыми украшена была.
Узрев юнца в раздумьях потаенных,
Она главу в испуге подняла,
Подол рукою белой придержала
И к нежной груди те цветы прижала.

И прочь пошла, травы едва касаясь
Неспешными и легкими стопами.
А юноша покинутый, терзаясь,
Мечтал лишь об одном – о милой даме.
То трепетал он, жаждой проникаясь,
То пламенел, и робкими мольбами
Воззвал к ней, дабы нимфа задержалась.
Устами речь такая выражалась:

«Богиня ль, нимфа ль ты, не разумею,
Но мне богиней кажешься самой.
Коль так, то стань Дианою моею,
А нет – хотя бы имя мне открой,
Не человек ты внешностью своею.
Не ведаю, заслугою какой,
Какою милостью, звездой счастливой
Дано мне созерцать такое диво».

На эти речи нимфа обратила
Свой лик, его улыбкой озарив,
Какой остановила бы светило,
Свернула б горы, новый рай явив,
И сладкий, чудный голос испустила,

Фиалки и жемчужины открыв,
Он пронизал бы мраморную стену,
Зачаровал бы гордую Сирену.

«Не стою я ни жертвы, ни авгурии,
Не та я, что тобой измышлена.
Над Арно я живу в твоей Этрурии
И брачному огню обречена,
Тогда как в неприветливой Лигурии
На берегу была я рождена
Там, где Нептун вотще ревет над кручами,
Грозя им волн накатами гремучими.

Здесь наслаждаюсь я уединеньем
И часто прихожу на место это,
Здесь предаюсь приятным размышленьям
В прохладе, где цветами всё одето,
И краток путь к моим домашним сеням,
Здесь радуется жизни Симонетта
В тени, у вод прозрачных и спокойных,
Порою среди нимф, подруг достойных.

В досужие часы, когда трудами
Не подобает заниматься нам,
У алтаря бываю в вашем храме
Средь жен нарядных по воскресным дням.
Чтоб недомолвок не было меж нами,
Чтоб не дивился ты моим красам,
Да будет правда мной тебе поверена:
Знай, изошла из лона я Венерина.

Но уж к закату близится светило,
Тенями застилается округа,
Уже цикада нам поет уныло,
И пахарь, отрешив волов от плуга,
Спешит с полей к своей лачуге милой,
Где стол накрыт и ждет его супруга.
И мне приспело время удалиться,
Тебе ж пора к отряду возвратиться».

И пред ее улыбкой светоносной
Вечерний сумрак отступает вдруг.
Когда походкой плавной, грациозной
Пересекла неторопливо луг,
Весь лес как будто жалуется слезно,

И слышатся стенания пичуг,
А травы под ее стопой белеют,
Лазорятся, желтеют, багрянеют.

Что делать Джулиано? Порывается
Бежать за нею, за своей звездой,
Но замирает сердце – не решается,
Застыла кровь и стала ледяной,
Ей смотрит вслед и в мрамор превращается,
И думает о муке неземной,
Любуется небесною походкой
И ангельским нарядом девы кроткой.

И мнит он, что из персей истомленных
Готово сердце выскочить от боли,
А на ланитах капли слез соленых —
Как будто росы в предрассветном поле.
Он чувствует себя среди влюбленных,
Он изможден в Аморовой неволе.
Велит Амор последовать за нею,
Но крепко держит Стыд уздой своею.

И где же, Джулиано, наставленья,
Которыми ты с важностью учил
Влюбленных бедных, терпящих мученья?
И что ты от охоты получил?
Ключи от воли, сердца и мышленья
Ты женщине единственной вручил
И так страдаешь в сладостной кручине!
Кем прежде был и кем ты стал отныне!

Ты был охотником и мчал за ланью,
Теперь же сам попался, как в силок.
Ты раньше жил по своему желанью,
И вот Амор тебя ярму обрек.
Где сердце? Где свобода? Полной данью
Себе их взяли донна и стрелок.
Ах, на себя нам полагаться втуне,
Амор законы предписал фортуне!

Ночь, как накидкой, темной пеленою
Накрыла землю, сумерки сгустив,
И соловей под кроною родною

Запел на древний жалобный мотив,
И нимфа Эхо вторила порою
Певцам пернатым, скорбь свою излив;
Из киммерийских сумрачных владений
Явился сонм различных Сновидений.

И юноши, забавой утомленные,
Узрев, что звезды в небе зажигаются,
Заслышав рога зовы отдаленные,
В обратный путь с добычей собираются.
Веселые идут, разгоряченные,
Тропой единой, здесь, как полагается,
Все ложью торговать усердно принялись,
Затем на поиск Джулиано ринулись.

Нет Джулиано, только тьма глухая.
И по спине мурашки побежали:
Быть может, зверь или беда какая
Товарищу вернуться помешали?
И с факелом, и с рогом, выкликая,
Тем именем дубравы оглашали,
Но только отзвуков многоголосица

«...лиа-лиано» им в ответ доносится.

Призывы были тщетными, и всякий
От страха замирал и холодел,
Обыскивали чащи, буераки,
А мрак на небе между тем густел.
«...лиа-лиано» слышалось во мраке.
Что делать им? Бедняги не у дел,
От поисков напрасных отвращаются
И на тропу понуро возвращаются.

Идут молчком. Одной надеждой малой
Им утешаться только оставалось,
Что он вернулся тропкой одичалой
В то место, где жилье располагалось.
Волненье их сердца обуревало,
То страх в них, то надежда зажигалась:
Так луч, от глади отразясь зеркальной,
То там, то здесь в тиши мелькает зальной.

И юноши, которых лук незримый
Лишил иных забот в одну минуту,

Надеждою и страхами томимы,
Вернулись к одинокому приюту,
И там-то, новым бременем тягчимый,
Стоял их друг, терпя раздумий смуту,
Когда, еще не подавив тревогу,
Компания приблизилась к порогу.

Тут, от стыда зардевшись, тихомолком,
Все подниматься начали несмело:
Так пастухи, у коих лютым волком
Из стада был похищен бык дебелый,
Не ведают, как оправдаться толком,
И, взор потупив, жмутся оробело
Перед хозяйской дверью, сокрушаясь,
Войти иль постучаться не решаясь,

Но радостно затем возводят очи
И видят: спасся, и сомненья прочь.
Так встарь Церера в царстве вечной ночи
Нашла свою возлюбленную дочь.
Средь ликований и забавы прочей

Старался Джулиано превозмочь
Ту боль свою, сердечную невзгоду.
Изображал он радость им в угоду.

Меж тем Амор, свершив благое мщенье,
Ликуя, мчал сквозь сумрак напрямки,
Он к матери спешил, в ее владенья,
Где братья младшие озорники
И Грации вкушают наслажденья,
Где Красота плетет себе венки,
И где Зефир, друг Флоры шаловливый,
Цветы лелеет и ласкает нивы.

Теперь воспой мне сладостное царство,
Эрато, соименница Амора,
Ты девственна, но вхожа в это царство,
Наперсница Венеры и Амора,
В стихах любовных славишь это царство,
И вторит в лад тебе игра Амора:
Он сам порой колчан и лук отбросит
И у тебя твою кифару просит.

На Кипре есть гора как чудо света,
Зрит поутру она семь устьев Нила,
Лишь даль зарозовеет в час рассвета.
Туда нога людская не ступила.
Ее вершина зеленью одета,
И луг внизу природа сотворила,
Там дуновенья ласковые веют,
Колеблют травы и цветы лелеют.

Окаймлена гора златой стеною,
Под нею дол кустистый и тенистый,
И меж ветвей, за юною листвою,
Поет любовь хор птичий голосистый,
И два ручья там шепчутся волною,
Прозрачной, освежающей и чистой,
В том сладость, в этом горечь пребывает —
Амор златые стрелы омывает.

Деревья вечно молодого сада
Ни иней, ни снега не убелят,
Туда нет хода для зимы и хлада,
Кустов и трав там ветры не томят,
И вовсе календарь менять не надо:

Там круглый год Весна лелеет сад,
Из ста цветов плетет венки, ликуя,
Ей ветер треплет кудри, их волнуя.

Вдоль побережья Купидона братцы —
Разить им лишь незнатных довелось —
Визжат и по-мальчишески резвятся,
И стрелы точат стайками иль врозь.
Кознь и Услада рады постараться —
Колес кровавых все вращают ось,
А тщетный Пыл с Надеждою обманной
Дробит струю о камни непрестанно.

Там Нега робкая со Страхом нежным,
И нежный Гнев, и Мир – одна ватага,
Исходит Плач рыданьем безутешным,
И оттого в ручье горчее влага;
Там Бледность вместе с Рвением мятежным,
Тревога там и Худоба, бедняга;
Бдит Подозрение на страже вечно,
Веселье пляшет на тропе беспечно.

Там Сладострастье с Красотой пирует,

Довольство прочь бежит, и Грусть с ней розно,

Там Заблужденье мечется, лютует,

И по бедру себя бьет Ярость грозно;

Раскаянье несчастное горюет,

От заблуждений прозревая поздно;

Жестокость алчет крови и злословит;

Отчаянье петлю себе готовит.

С Обманом тихим рядом Смех притворный

И Знаки, вестники сердец горящих,

С лицом умильным там и Взгляд упорный

В сеть ловит Юность средь цветов пестрящих.

Пред Тяготами Скорбь в одежде черной

Лик о ладонь оперла в муках вящих,

И Вольность, никаких цепей не зная,

То там, то здесь парит себе, шальная.

Венера, мать благая купидонов,

Вот армия послушная твоя!
Зефир порхает, луг росою тронув,
Благоуханья разные струя,
Касается лугов и горных склонов,
Фиалки, розы, лилии живя,
Трава дивится красоте ажурной:
Здесь белой стала, алой, здесь – лазурной.

Дрожит фиалка, девочка честная,
Потупив очи – стыд проник до донца,
Но краше, ярче роза молодая
Раскрылась гордо под лучами солнца:
Та прячется за листьями, другая
Выглядывает точно из оконца,
И лепестками дол покрыла третья,
Как будто отпылав средь разноцветья.

Заря любовной пеленою служит
Фиалкам желтым и кроваво-красным;
Знак скорби носит Гиацинт, и тужит
Нарцисс над отражением злосчастным;
И Клития под солнцем лик свой кру-

жит,
Бледна, бела, но с пурпуром прекрасным;
Венере скорбь – Адонис нежноликий;
Акант смешливый, Крокус триязыкий.

Вовек не переодевала травы
В такие перлы юная весна.
Вот над холмами кроны, величавы,
Не пропускают солнце – сень темна;
Внизу густые ветви средь дубравы
Хранят источник; влага холодна,
Прозрачна так, что глянешь вглубь потока —
И дно увидит невозбранно око.

Вода из арки пемзовой струится,
И арка та на гору оперта,
Цветущей колеей бежит водица
В круг водоема, дивна и чиста,
И с губ его по капелькам сочится,
Деревья награждает влага та.
Деревья на плоды там не скупятся,
Не устают и в росте состязаться.

Здесь крылья пихта стройная раскрыла —
Так паруса Борей вздувает в море;
Мед в дубе каменном – живая сила;
Здесь лавр в своем пленительном уборе,
И жесткий, длинный Кипарис уныло
Все об олене плачет в давнем горе,
А древо, что отрадно Геркулесу,
С платаном над водой сплело завесу.

Здесь крепкий дуб и бук как исполины,
Здесь ива влажная, кизил узлистый,
Здесь вяз раскидистый, кусты рябины,
Сосна, что ветру посылает свисты;
Здесь томный клен клянет свой цвет единый,
Венки сплетает ясень густолистый,
Награду пальма здесь сулит герою,
И плющ ползет неровною тропою.

Лоза здесь вечно молода, пригожа,
Являет оку всевозможный вид:
Одна набухла так, что лопнет кожа,

Другая пясти новые стремит,
А та сплелась навесом, тени множа,
И винограда Феб не опалит;
Увечная поникла и слезится,
И влага та в вино преобразится.

Самшит здесь вьется, ветром облюбован,
А зелень украшает берег сей,
И мирт, своей богиней очарован,
Для локонов цветы готовит ей.
Здесь каждый зверь любовью околдован.
Сошлись бараны как нельзя плотней,
Тот бьет того, и тот того бодает;
Влюбленная овечка наблюдает.

Мычанье слышится у косогоров —
Бой не на жизнь, а на смерть видит лес:
В поту, в крови, являя крепкий норов,
Быки взметают комья до небес.
Кровавой пеной закипает боров,
Клыками водит и рычит, как бес,

То рыло в землю ткнет, то заскрежещет,

И трется о кору – в нем ярость блещет.

Прониклись лани боевым задором,

Сражаясь за любимую подругу;

Вот тигры полосатые с напором,

Пылая ярью, ринулись друг к другу;

Хвостом бия о землю, с лютым взором,

Пугает лев рычаньем всю округу;

Перед ужицею шипят два змея,

А та на солнце шкуру лижет, млея.

Перед массильским львом в любовной пляске

Копыта вскинул на жену олень,

И кролики друг другу дарят ласки

Средь пышных трав в весенний ясный день;

Простые зайцы скачут без опаски,

Псов не боясь, резвиться им не лень:

Уходит ненависть и страх природный,

Когда в груди любови дух свободный.

И рыбы стайкой плавают, роятся
В живых и благодатных хрусталях,
То там, то здесь без устали кружатся
В приятном танце; плавниками взмах —
И могут на поверхности являться,
И друг за другом гонятся в зыбях,
Игра, веселье в каждом их движенье,
И холод вод не остужает жженье.

Пестрят пичужки средь листвы древесной,
Созвучиями полнится эфир,
Их голоса в гармонии небесной
Звучат блаженно, как аккорды лир,
И разуму в людских покровах тесно,
Не может он постигнуть этот мир;
Куда бы птиц ни вел Амор по пущам,
Порхают меж ветвей в веселье пущем.

Разносит Эхо пенье над долиной,
И слышно под ветвей завесой тенной

Чириканье и щебет воробьиный;
Павлин раздвинул хвост свой драгоценный;
Здесь воркованье пары голубиной,
Здесь лебедь берег огласил, степенный;
Здесь горлица с подругою воркует,
И попугай без умолку толкует.

Здесь Купидон и братья озорные,
Хоть смертных и богов разят равно,
Резвятся, мечут стрелы золотые,
Те стрелы и зверям познать дано.
Киприда бродит, с ней сыны родные,
И Паситея также заодно,
А некоторых сон окутал сладко,
Спят меж кустов, цветов они украдкой.

И высится гора там над холмами,
А на горе – дворец; отделан он
Лишь златом, драгоценными камнями
И в сицилийских горнах прокален.
Три Оры там садовницы, трудами
Святых цветов лелеют легион,

Амброзию сбирают, стебль срывая,
А лепестки на солнце выставляя.

Сияет чудо-древо у порога:
Листва – смарагд и яблоки златые,
Брала их Аталанта-недотрога,
Дав Гиппомену лавры дорогие.
Там Филомела плачет у чертога,
Там вторят ей дриады молодые,
Там Гименей, блюститель браков чуткий,
Ведет их в пляс под звуки верной дудки.

Дворец царицы воздух прорезает,
Там золото и драгоценный лал
Блистают так, что полночь отступает,
Но мастерству уступит матерьял.
Помост из изумруда покрывает
Массивный адамантовый портал,
Стероп и Бронтес молотом умело
Ваяли их в глубинах Монджибелло.

Из нежного блестящего берилла,

Стена дивит отделки мастерством,
Через сапфир восточный тихо, мило
Проходит свет дневной в просторный дом.
Чтоб не проникло Фебово светило,
Златая кровля крыта полотном,
Пол вымощен каменьем драгоценным,
Художеством украшен совершенным.

И вот тысячецветные ворота
Из самоцветов чудных, дорогих,
Пред ними меркнет всякая работа,
Природа б устыдилась, видя их.
Здесь Целия изваяна тягота:
Вот сын его родной, свиреп и лих,
С серпом подходит загнутым; свершится —
Тот члена детородного лишится.

Земля простерла мантию, чтоб жадно
По каплям эту кровь в себя впитать.
Выходит род Гигантов беспощадный
И племя Фурий – плодовита мать,

Из семени того же ей отрадно
Разнящихся по облику рождать
Нимф, красотой дивящих, полуголых,
Стреляющих зверей в лесах и долах.

И можно видеть: в ложесна Тетида
Прияла член тот, и штормит Эгей,
И так сошлась с планидою планида,
Что встала пена белая, и в ней
Родилась дева неземного вида;
Божествен лик, движенья, взор очей,
Зефиры гонят раковину, дуют,
На ней – она, и небеса ликуют.

Вы настоящим бы признали море,
Зефиров, пену, раковину в нем,
И у богини свет небес во взоре,
Увидели б, сливается с огнем.
Выходят Оры на берег в уборе,
Разметаны их кудри ветерком,
Несходны лицами, но не разнятся —
То три сестры, как можно догадаться.

Вы поклялись бы, что из волн мятеж-

ных
Богиня вышла, правой сжав рукой
Пучок волос, а левой оба нежных
Холма своих прикрыв; и под стопой
Божественной простор песков прибрежных
Цветами застилается, травой.
Ее, ликуя, принимают Оры
И облачают в звездные уборы.

Одна из нимф гирлянду простирает
Над влажными кудрями; видно нам,
Как златом та, каменьями пылает;
Вторая перл приставила к ушам,
А третья ожерелья примеряет
К ее белейшей груди и плечам,
И все затем, украсив ими шею,
Возносятся, танцуя, к эмпирею.

Когда они достигли высшей сферы,
На облаке серебряном воссели.
Эфир трепещет пред красой Венеры
(То видно в камне), в небесах – веселье,
И каждый бог, возликовав без меры,

О счастье грезит – о ее постели,
И каждый, удивляясь этой нови,
И морщит лоб, и вскидывает брови.

И вот с наградой сладостной, сугубой
Вулкан-кузнец себя изобразил:
Он в кузнице, заросший, с виду грубый,
Искусства в одночасье позабыл,
Он только жаждет слить с губами губы,
Ему сжигает душу страстный пыл;
Все больше пламя, и, оставив дело,
Он спешно покидает Монджибелло.

А на другой картине превращается
Юпитер в белоснежного быка,
С сокровищем своим он удаляется,
Глядит на берег, смирен, но пока;
Зефир власами девы забавляется —
Развились по груди от ветерка,
Трепещет платье, и одной рукою
Взялась за спину, а за рог – другою.

Затем она отдергивает ноги,

Как бы боясь их замочить в волнах,
И призывает в скорби и тревоге
Товарок, что остались на лугах
Среди цветов; те испускают вздохи,
Зовут Европу горестно, в слезах,
«Вернись, Европа!» – слышится на бре-
ге;
Плывя, ей бык ступни лобзает в неге.

Здесь пастухом, здесь змеем обратил-
ся,
Здесь – лебедем, здесь – золотым до-
ждем,
И все чтоб глад любовный утолился;
А здесь – Амором сладостным ведом,
Он стал орлом и на крылах спустился,
Чтоб Ганимеда взять в небесный дом,
Там кипарисом юношу венчает,
И плющ того, нагого, обвивает.

Становится Нептун тельцом спеси-
вым,
А здесь – бараном от любви жестокой;
Отец Хирона – скакуном ретивым,

Феб – пастухом в Фессалии далекой:
Кто мир весь освещает, неким дивом
Живет в лачуге малой, одинокой;
Постигший все целебные растенья
Не может излечить свои раненья.

За Дафною своей затем стремится,
«Постой, о нимфа, – молит, – бег умерь!
Остановись же в поле, чаровница,
Я зла тебе не причиню, поверь.
Ягненок – волка, льва олень боится,
Ведь от врага спасенья ищет зверь,
Но почему же ты, о дама сердца,
Бежишь не от врага – от страстотерпца?»

А здесь – прекрасной Ариадны пени
На море, что не внемлет, на Тезея,
На ветер, на коварство сновидений;
Она трепещет, в страхе холодея,
Как тростники болот от дуновений.
К неверному взывает, цепенея:
«О, ты любого зверя беспощадней,

Тот был бы милостивей к Ариадне!»

На колеснице под плющом и лозами
Два тигра Вакха юного везут,
А вслед с сатирами громкоголосыми
Вакханки тяжко по песку идут;
Шатаются, с нелепейшими позами,
Те спотыкаются, те в бубен бьют,
Тех – полный рог, а этих чаши радуют,
Те нимф хватают, эти наземь падают.

Силен с очами мутными, потухшими
На ослике сонливо сзади тянется,
От пота взмокший, с жилами набухшими,
Отяжелел, одрях заправский пьяница,
Держась за гриву дланями распухшими,
Спадает он, и взор его туманится,
Его сатиры держат, хоть нетрезвые,
Осла толкают тирсом нимфы резвые.

Здесь, пленница сурового Плутона,
На колеснице мчится Прозерпина,
И можно видеть, как зефир влюбленно

Взвивает кудри девушки невинной,
Со складок платья белого, у лона,
Цветы, что собирала средь долины,
Слетают вниз; бьет в грудь себя, рыдая
И тщетно мать, подружек призывая.

Сам Геркулес здесь шкуру льва оставил
И в платье женском выглядит нелепо.
Кто от бессчетных пагуб мир избавил,
Тот женщине прислуживает слепо,
Так гордый Купидон его заставил;
И он, на раменах державший небо,
Рукой, привыкшей к палице огромной,
Берет веретено покорно, скромно.

У Полифема волосы спускаются
На грудь, скрывая плечи необъятные,
И желудем виски его венчаются;
Вокруг пасутся овцы благодатные,
Но в пленном сердце муки зарождаются
И горькие, и вместе с тем приятные,
Он око чуть не выплакал единое,
Сидит под кленом, в нем тоска кру-

чинная.

От уха и до уха брови косо
Ложатся у него на шесть пядей,
Как дугами покрыв громаду носа;
Клыки белее пены средь зыбей;
С ним рядом пес; свирель звонкоголоса,
Из ста тростин – не прикоснется к ней,
А смотрит в даль бушующего моря,
И песню горную заводит с горя.

Поет, что молока она белее,
Надменней ярки, что дивит красами,
Что много сплел венков для Галатеи;
Двух медвежат, боровшихся со псами,
И олениху чтоб взяла скорее;
И что он страждет долгими часами
И научиться плавать жаждет ныне,
Чтоб наконец найти ее в пучине.

Дельфины, в колесницу запряженные,
Мчат Галатею, правящую ими,
Плывут и дышат вровень, окруженные

Резвящимися тварями морскими:
Кто исторгает брызги вод соленые,
Кто кружится, играет с остальными.
С подругами смеется нереида
Над песнопевцем столь чудного вида.

Работа вся отделана акантом,
В который мирт и розы вплетены,
И птицы там подобны музыкантам:
Нам кажется, что трели их слышны,
И горд Вулкан: с невиданным талантом
Картины те им были созданы,
Ведь что б ни выражало здесь искусство,
Все постигает разум наш и чувство.

Отрадна та чудесная обитель
Благой Венере, матери Амора,
Здесь был рожден стрелок-кознетворитель,
Что прихоти и цвет меняет скоро,
Небес, земли и вод поработитель,
Сердца он залучает в сети взора,

На вид прекрасный, а в деяньях грозный,
Нагой юнец, летун колчаноносный.

Он на крылах распластанных влетает
И ими бьет, затем дает им роздых —
Святое оперение смыкает,
Так голуби в своих ликуют гнездах.
И шум, и след пернатый сохраняет
На миг еще прорезанный им воздух,
И вот, крыла победные покоя,
Идет он гордо к матери в покои.

И видит: после Марсовых объятий
Сидит Венера на одре, у края,
К ее груди приникнув, благодати
Впивает бог, на лик ее взирая;
Их осыпают розы на кровати
Из облачка, вновь к играм побуждая,
Но целовать тысячекратной мерой
Готова друга милого Венера.

Малютки-купидоны мотыльками
Над ними и порхают, и кружат:
Один с тысячецветными крылами

Прильнуть к одной из роз любовно рад,
Другой, наполнив свой колчан цветами,
Их рассыпает над одром услад,
А третий, облако крылом поймавший,
Трясет его над ложем, в дланях сжавши.

И розы, как на крыльях оперенных,
Вновь опадают, ложе все устлав,
Но не пресытят радостных влюбленных.
Когда Амор, пред матерью представ,
Не складывая крыльев утомленных,
Обвил ей шею, сердце взволновав,
Веселый, не переведя дыханья,
С трудом он мог начать повествованье.

«Какие вести? Путь откуда правил? —
Поцеловала сына нежно мать. —
В сетях ты бога, смертного ль оставил?
И почему так взмылен ты опять?
Мычать ли вновь Юпитера заставил?

Сатурна ль в дебрях Пелиона – ржать?
Что б ни свершил ты, все мне будет мило.
Ты, сын, мое оружие и сила».

Книга вторая

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

Застыли в ожидании ответа
Малютки над кроватью золотой,
А Купидон с улыбкою привета
Вдруг обнял Марса, дерзкий и простой,
И словно невзначай была задета
Грудь воина пылающей стрелой;

Коснулся ядовитым поцелуем,
И бог уж новым пламенем волнуем.

И матери сказал: «Свершились планы,
Ты зришь меня веселым оттого,
Что я похитил из полков Дианы
Первейшего героя одного,
Кем восхищается земля Тосканы,
Ведь слава Джулиано моего
До Индии дойдет, до старца-Мавра,
Он младший брат любезного нам Лавра.

И кто на свете Медичи не знает,
Покрыт старинной славой этот род!
Как свет, великий Козимо сияет,
Он дочерью Италию зовет!
Отцову доблесть Пьеро почитает,
И он не чудом ли в ненастный год
Смог исцелить своей отчизны тело
От ярости и злобы закоснелой?

Вторым от благороднейшей Лукреции
Рожден был Джулиано, первым – Лавр,

Еще пылает Лавр к благой Лукреции,
Но непреклонность в ней встречает Лавр,
Она суровей римлянки Лукреции
Иль фессалийки, превращенной в лавр;
И если обращала к Лавру очи,
То лишь на миг; надменны были очи.

Все просьбы, пени для нее, суровой,
Как ветерок для башни – злая участь!
Я поразил ее стрелой свинцовой,
Его – златой и, сожалея, мучусь.
Но, мать моя, махну крылами снова
И прямо в грудь вселю ей ту же жгучесть,
Тем самым Лавра верного усердие
Вознагражу я знаком милосердия.

Я зрю его за ратными делами:
Верхом на скакуне, вооруженный,
Он, как дракон, что извергает пламя,
Всех побивает, яростью зажженный.
Доспехами сверкая, как огнями,
Он озаряет воздух помутненный,

А после, истой доблести зерцалом,
Грядет в наш храм с триумфом небывалым.

Хор Муз меня почти возненавидел,
А вместе с ним был Аполлон в кручине,
Ведь их поэта дерзко я обидел!
В стихах его укор мне и поныне.
Казалось, что зимой его я видел:
На волосах, плечах и лике – иней,
Луне и звездам жаловался вволю
На нас и на нее, и на недолю.

По миру он хвалы нам шлет без счету,
Лишь о любви и мыслит, и поет,
Твою бы, Марс, он мог воспеть работу,
Беллоны ярость, трубы, латный пот,
Но лишь о нас писать ему в охоту
И славить ту, что шпорит и гнетет.
Соединил ли я его с любезной!
Но, мать, я не алмазный, не железный.

И я, о мать, отнюдь не твердокорый,
Тобой рожден я, плоть твоя и кровь.

Не буду я жестоким с тем, который
Внушает мне пред ним не хмурить бровь.
Познал любовь он, а ее раздоры
В него пускали когти вновь и вновь,
И вот теперь он жаждет примирения
В награду за примерное служение.

А Джулиано поднимал восстание
И следовал за Делией с триумфом,
Теперь по следу брата в наказание
В цепях влечется за моим триумфом.
Не проявлю к нему я сострадания,
Пока не проблистает он триумфом.
Его сразил, не чая лучшей меты,
Я из очей прекрасной Симонетты.

Известна вам и стать его, и сила,
И как он мчит на резвом скакуне.
Его я на охоте видел, было,
И лес его боялся, мнилось мне;
Прекрасный лик суровость исказила,
И, грозный, пламенел он как в огне.
Ты, Марс, когда над Фермодонтом ска-

чешь,

Точь-в-точь таков, хоть ныне лютость прячешь.

Вот какова моя победа славная,

Добытая трудом и многим пóтом.

Так наша честь и наша мощь державная

На небесах возвысится с почетом;

Так память сохранит (а это главное)

Тебя, о мать, со мной, твоим оплотом;

Стихи и лиры будут славить краше

Огни, колчаны, луки, стрелы наши».

Лицо ее улыбкой озарилось,

И пурпуром румянец проступил.

Не то что Марс – скала бы покорилась

Любовным чарам! А во взоре пыл,

Как будто высь Авророй обагрилась.

К груди прижала сына что есть сил,

Ему златые кудри поласкала

И, радостью сияя, отвечала:

«Что б ни желал, всё, милый сын, при-

му я,
Ведь слава наша крылья обретает
И возвращает на стезю прямую
Благою волей всех, кто заплутает.
На новый путь и Лавра подниму я,
Победа уж венок ему сплетает:
Средь тягот доблесть вспыхивает жарче,
Так золото в огне сияет ярче.

Чтоб слава наша землю охватила,
Пусть Джулиано выйдет в бой впервые;
Тот, кто поет о доблести Ахилла
И возрождает времена былые,
Нам сложит гимны, чтоб стило явило
Любви примеры чистые, благие.
Тогда, прекрасный сын мой, наша слава
Превыше звезд взметнется величаво.

А вы, сынки, победными крылами
Овейте всех Тосканы сыновей,
Через эфир неситесь, словно пламя,
Берите лук и стрелы поживей,
Пусть Марс в благом пылу помчится

с вами,
И посмотрю я, кто из вас резвей,
Разите вы тосканцев до упада.
Лук золотой будь лучшему награда».

По сих словах схватили лук и стрелы
И у бедра привесили колчан, —
Так и гребцы, что наги, загорелы,
Хватают весла, коли свист им дан.
Летят через эфир, быстры и смелы,
И рушатся на город, как таран.
Так пар порою с воздухом составится,
И кажется: тот звездами буравится.

Идут и выбирают благородных,
Дабы огню любовному обречь,
Кремнями бьют в усильях не бесплодных,
Чтоб потихоньку каждого возжечь.
Проник в них Марс и, больше не свободных,
Не преминул забавами увлечь,
Теперь юнцы, хоть крепким сном объяты,

Мнят, что они Аморовы солдаты.

Когда в созвездье Рыб войдет светило,
То силой жизни полнится земля,
Которую весна уж застелила,
Цветами и травой убрав поля,
Так и огонь в сердца их скрытой силой
Проник нежданно, жажду воспаля,
Желанье славы и признанья разом
Воспламенило доблесть в них и разум.

Здесь больше Трусость не имеет власти,
А Лень и от медлительных бежит,
И купидоны, взяв за обе пясти,
Влекут Свободу, в гневе та рычит;
Желанье пальмы рвет сердца на части,
Огнем их опаляет и крушит,
Как только в грудь их эти сны нисходят,
Покоя духи страсти не находят.

И между тем изнемогают спящие —
Не выбраться никак из крепкой сети;

Как змейки, молча между трав скользящие,
Как рыбы в водах, так и духи эти
По венам, по костям бегут, горящие,
И пламя всё растет в пылу и свете.
Посланники крылатые за двери,
И новое на ум пришло Венере.

Супругу Сна призвала Киферея,
Одну из Граций, юных нимф-сестер,
Всех влюбчивей, изящней Паситея,
И краше всех у Паситеи взор,
И говорит ей: «Крыльев не жалея,
Лети к супругу, дабы тот простер
Пред Джулиано сей же миг виденье
Такое, чтоб подвигнуть на сраженье».

Так изрекла. Бесшумно, что есть мочи,
Помчалась та сквозь небо напрямик,
И молнию не дольше видят очи;
Нашла она его в единый миг.
Он шествовал за колесницей Ночи;
И сонм летучих Снов пред ней возник,
Причудливых, разнообразных, коим

Дано ветра и хлябь смирять покоем.

Пред томными супружними очами
Она улыбкой нежно просияла,
И облаки перед ее лучами
Пропали с вежд его, как не бывало.
Меж тем ей Сны противились тенями,
Тень каждая ей лик свой открывала,
Из них избрав единого Морфея,
Сон попросив, исчезла Паситея.

Она исчезла, а за Паситеей
Помчались Сны от горних рубежей;
У нимфы веки стали тяжелее,
И ею сон овладевал уже,
Она летела, перьями не вея,
И в радости предстала госпоже.
Здесь избранные Сны ей повинуются,
Все в новых формах, строятся, волнуются, —

Так в ожидании приказа воины
Без ропота вздевают облачение,
Застегивают шлемы и настроены

Под звуки труб отправиться в сражение,
С мечами, с копьями они построены,
Примеривают щит, вооружение
И после шпорят скакунов с отвагою,
Вот-вот столкнутся с вражеской ватагою.

Был час, когда уж близится денница,
Но небеса по-прежнему темны,
Икара наклонилась колесница,
И потускнел ущербный лик луны,
Сошла на Джулиано вереница
Летучих Снов, ему внушая сны;
Уходит горечь, входит в тело сладость,
На свете, право, редка эта радость.

И видит он: безжалостная донна
С чертами резкой строгости и гнева
Приковывает властно Купидона
К стволу Минервина благого древа,
На девственной груди ее – Горгона;
В покрове белоснежном эта дева

Ему выщипывает оперенье,
Ломает стрелы, лук без сожаленья.

Ах, как перемениться смог несчастный
Амор, который прежде весел был!
Теперь уж не надменный и не властный,
Он гордость и триумфы позабыл
И о пощаде, горести причастный,
Он, вызывая жалость, возопил,
Кричал он Джулиано: «Горе, горе!
О, защити меня в моем позоре!»

И Джулиано в ложном сновидении
Ответствовал, не поборов конфуза:
«Мой господин, почто же ты в пленении?
В Палладины тебя замкнули узы.
И видит дух мой, что твои мучения
От облика чудовищной Медузы,
Ее керастов ярых, ужас сеющих,
Лица, шелома, дротов пламенеющих».

«Воззри, о Джулиано, как, пылая,

Она и солнце затмевает разом,
Как низость гонит, сердце просветляя,
Возвышенный воспламеняет разум.
Тебе она предстала – лань простая
И, душу подчинив очей приказом,
Страх зародила в ней, многострадальной,
Храня тебя для пальмы триумфальной».

Так рек Амор, и Слава тем мгновеньем
Коснулась, осиянная, земли,
И вместе с ней, пылая вдохновеньем,
Поэзия с Историей сошли,
И Джулиано легким мановеньем
На поле брани вмиг перенесли;
И уж на донне не доспех Паллады,
А только белоснежные наряды.

И вот на Джулиано облаченье
Пылает златом как по волшебству;
Ведомый ею, он пойдет в сраженье,
Оливой, лавром увенчав главу.
Он радость ощутил от лицезренья

Возлюбленной своей как наяву,
Он видел: нимфа в облаке печали,
Но лютости глаза не излучали.

Тут облака как будто помрачнели,
И всею бездной задрожал эфир,
Луна и небеса побагровели,
И звезды пали вглубь отверстых дыр.
Затем Фортуну он узрел в веселье
С любимой нимфой, украшавшей мир,
Так жизнь вручил он под ее главенство
И с ней стяжает славу и блаженство.

В таких-то лабиринтах легким бегом
Явил свои деянья воин юный,
Он счастлив был и предавался негам,
Что́ смерть ему, что́ горести в подлунной!
Но рок не отвести нам оберегом:
Мы все в упряжке движимы Фортуной!
Хоть льсти, хоть шли проклятия Фортуне —
Останется глуха, всё будет втуне.

И что нам сетовать, что падать духом
Иль увлажнять ланиты током слез?
Не тронется, не преклонится слухом,
Вставать ли супротив ее угроз?
Весь мир она своим подмяла пухом,
Ведет, как хочет, ход крутых колес.
Блажен, кто мысли от нее отводит
И в доблести спасение находит!

О, счастлив тот, над кем она не властна,
Кто супротив атак ее идет,
Тверд, как утес пред бездною ненастной,
И защищен, как от ветров оплот;
Кто ждет удара, стойко и бесстрастно
Превратностей претерпевая гнет!
Он, от себя завися лишь, тем самым
Не в воле случая – он правит сам им.

Уж в колеснице светлую Аврору
Понес Пегас, в узде горящей мчась;

И из-за Ганга встало в эту пору
Светило дня, во злато облачась;
Уже на Эту, золотую гору,
Латоны дочь бежала в ранний час,
И в росной влаге стебли приподняли
Цветы, что их от холода склоняли.

И радостная ласточка, приветствуя
Рожденье дня, в гнезде своем запела;
Уж стая Снов, со светом не соседствуя,
В свою пещеру мрака улетела,
Когда, в душе ликуя, а не бедствуя,
Проснулся Джулиано; глянул смело
Он вкруг себя, и очи поразились:
В них страсть и жажда славы отразились.

Тут Славу он увидел пред собою.
Богиня быстрокрылая в броне
Звала его и всех отважных к бою,
«Вперед! Вперед!» звучало в вышине.
Он чувствовал, что гулкою трубою
Уже к турниру призван он извне,

И в теле будто возгорело пламя.
Воззвал горе такими он словами:

«Юпитерова дочерь всеблагая,
Ты двери храма Януса блюдешь,
Могучею десницей полагая
Грань миру и войне; ты предстаешь,
Богиня-дева, землю озаряя,
Величием овеянная сплошь,
Зажги мне сердце доблестью священной.
Тритония, вонми мольбе смиренной!

В твоей броне явилось мне виденье
Той, что была безжалостна со мной,
И страшный лик Медузы, и плененье
Амора этой донной ледяной,
Но скованного разума волненье
Ты уняла, мне ниспослав покой;
На подвиги зовешь с Амором ныне,
Даруй мне славу вечную, богиня!

И ты, чьим лицезреньем услаждаюсь,
Кто в облаке пылающем предстала,

Кому всецело сердцем подчиняюсь,
Зане любовь едва ль мне помогала,
Тобой на брань я воодушевляюсь,
Как резвый конь от трубного сигнала,
Тобой да отличусь, о Слава, днесь я,
Неси меня в просторы поднебесья.

И коль, Амор, могу я быть по праву
Поборником твоим противу той,
Противу той, что силою расправу,
Коль верить сну, свершала над тобой,
То влей мне в мысли сладкую растраву,
А сердце состраданию открой;
У доблести моей крыла недлинны,
Сильней отвага у нее, невинной.

Сам видишь: столь отважна эта дева,
Что и тебе дает она отпор.
В честных сердцах, как птица в кроне древа,
Селишься ты, божественный Амор.
Дай пыл мне своего святого гнева
И над природой вознеси, синьор,
И сделай так, чтоб, как твое точило,

Не ранила она, а меч точила.

Амор, Минерва, Слава, вслед вам гордо
Я шествую, впивая ваше пламя,
И только с вами, я уверен твердо,
Смогу победу заслужить делами,
И пусть из памяти не будет стерта
Печать моя, пусть помянут хвалами;
Вы ту, меня презревшую, смягчите,
Меня же на ристалище умчите.

Луиджи Пульчи

Бека из Дикомано

I

II

III

IV

IVa

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

Всяк славит Ненчу ночи напролет,
А мне о Беке бы замолвить слово;
Валлера, слышал, каждый день поет,
Как Ненча хороша и как толкова,
Но Бека, гляньте, дивом предстает,
Иного не увидите такого:
Стоит на ножке – кажется цветком,
Сердца нам пробирает холодком.

Пусть Бека малость ростом подкачала,
Хромает, как заметно – ну так что ж!
В глазу бельмо такое, что сначала,
Не видев, порешишь, что это ложь;

А рот ей бороденка увенчала,
Ты рыбой-усачом ее сочтешь;
Она кваттрино тертого белее.
Вот стать бы муженьком ее скорее!

Как осы, осаждая спелый грозд,
Весь день жужжа, без устали кружатся,
Иль как ослы за самкой мордой в хвост,
Так ухажеры за тобой влачатся.
Ты, Бека, дуешься, твой вид непрост,
Порою подмигнешь им, может статься;
Но ты легко бы ублажила их,
Всегдашних воздыхателей своих.

О, ты белей белья любой чистюли,
Цвет утренней зари не столь румян,
Забавней ярмарки (сравнить могу ли?),
Ты горделивей, чем любой тиран,
Назойливее мошкары в июле
И сладостнее, чем любви дурман;
Когда ты пляшешь с радостной тол-

пою,
Не краше бык, пришедший к водопою.

[О Бека, ты проворней таракашки,
Когда танцуешь, разогнав тоску,
Ты веселей осла на майской кашке,
Певучее кукушки на суку;
Лицом ты краше зада у милашки;
Не так надой причастен молоку,
Как ты прилавка мясника занятней,
Осленка на дворе моем приятней.]

А знаешь, как люблю тебя, иль нет?
Когда идешь ты в город с моной Джил-
лой,
Неся корзину, то небесный свет
Вся излучаешь, словно ты светило.
Я чувствую, как будто арбалет
Пронзил мне сердце с небывалой силой,
И говорю: «От городских, поди,
Получишь апельсинов пруд пруди!»

Вы, девушки, не подавайте виду,
Смирите зависть: Бека вас милей!

Поет под бубен, будь вам не в обиду,
И платье-то воздушное на ней.
Не хуже вас она станцует ридду,
Едва ли сыщешь деву веселей;
Гляжу с восторгом, как по ходу пляски
Переставляет ножку без опаски.

На праздник ли придет, на карнавал,
Всех красотою Бека превосходит,
Цветной платок ей вместо покрывал,
И на цветник глава ее походит;
Она – скажу – как золотой фиал,
Все совершенства взгляд мой в ней находит,
Куда ни глянешь, всюду образец,
К тому ж она – изящества венец.

У Беки есть чудесная цевница,
На ней мы состязаемся в ночи;
Как дуну я, так изморозь ложится,
И боль во мне такая, хоть кричи.
Лишь дудочки коснуться мне случится,
Со смехом говорит она: «Звучи!»,
И горечь растравляет мне печенку,

Я на куски сломал бы ту дудчонку.

И это я сегодня ночью, знай,
На твой балкон повесил незабудку.
Залез я во дворе на твой сарай,
Мне шапку ветер сбил, и не на шутку,
До косточек, бора пробрала, чай.
Был бы свисток, трубил бы я побудку,
Чтоб милосердней, Бека, стала ты,
Но у меня тогда свело персты.

А ввечеру ходил к ореху в Мейо,
Что перед Сарациновой стеной;
Со мною были Беко, Тоньо, Тейо,
Они, как я, все пленены тобой.
Чем обернулась, спросишь ты, затея?
Там огоньков увидели мы рой —
Фонарики бесовские сияли,
Мы, видя чертовщину, драпу дали.

Меня спросили: «Нуто, почему
С тобою Бека поступает строго?»
И я поведал: к горю моему
Лицо она сурьмит, румянит много.

Но на привет мой, судя по всему,
Смягчилась после эта недотрога,
И впредь со мной не избегала встреч,
Где б ни хромала, где б ни шла, сиречь.

О Бека, за псалмы твоих речений
Готов безумцем я к тебе прильнуть,
Дам белый хлеб и свежий мед весенний,
Так станем же друзьями, хоть чуть-чуть!
Хурму иль яблоки – без промедлений,
Каштанов… – лишь открой медову грудь;
А коль чего побольше вожделеешь,
Дай утоленье, и – не пожалеешь.

Захочешь – с репой, с щавелем салат,
А хочешь – со свеклой, он будет сказкой;
Связать тебе метлу я буду рад,
Собрав пруты, ты отдари мне лаской;
Захочешь – звуки страстных маттинад,
Иль раков принесу тебе я связкой,

А то не знаю, как и угодить,
За хвост рыбеху мне не изловить.

У дома твоего хожу я, Бека,
Твой воздыхатель, всё хожу кругом,
И не услышишь ты от человека,
Что чем-то плох иль непотребен в чем.
Бреду домой не с чем я, как калека,
Под вечер, коль тебя не видел днем;
Чтоб сожалений не поддаться жалу,
Треплю свою волынку мал-помалу.

Хочу тебя… Ты, Бека, понимаешь?
Тебе скажу, но ты храни секрет,
Клянусь: когда мне внять ты пожелаешь,
Твоим я буду до скончанья лет.
Что сдержит? В час, как полдник ты вкушаешь,
Приди под сей каштан, приди, мой свет,
Здесь ладненько с тобой управим дело,
Когда в тени каштана ляжем смело.

Надену я твое кольцо, тьфу, чтоб!..

На палец, то есть… что мелю, о Боже…

Давай пойдем туда, где сена сноп,

Вольно пойти мне и тебе ведь тоже,

Лишь бы стемнело: пусть не видно троп,

Уставши от трудов, спит люд на ложе.

Знай, обещал тебя мне дядя твой,

Как минет Праздник, женимся с тобой.

Ты знаешь, я невежда, но в достатке

Скотины у меня, широк надел;

Я – твой, а ты – моя, и всё в порядке,

Тарелка на двоих, и всласть удел;

В моих корзинах виноград пресладкий,

И в ящиках запас не оскудел,

Как в добром сне нам вместе заживется

И ничего искать нам не придется.

Старуха злая порчу наведет

И всю-то ночь вынюхивает что-то,
Ушная боль мне голову сведет,
Не повернуться и вполоборота;
Ты, Бека, как оса, чье жало жжет,
Язвишь меня упреком отчего-то,
Приду к тебе и сделаю с тобой
Всё то же, что с ослицей ослик мой.

Ты не должна со столькими водиться.
Я прозорливый малый, я удал,
Как, Бека, за тобой не волочиться —
Я задницей своей в заборе встрял!
Сухих каштанов нес тебе, девица,
Кольцо твое уж к пальцу примерял:
Ты дашь его чрез тыщу лет, сдается,
Коль стать твоим мне мужем доведется.

Толпою ухажеры по пятам,
Не дашь ты им пирожного, однако,
Платок тебе, по крайней мере, дам,
Ты ж хоть кусочек – жду я, как собака!
Тогда свою волынку я к чертям,
Дикарь ли я, хорош иль забияка,

Ты не должна противиться, и я
Свершу, что обещал, краса моя.

О Бека, я-то речь Валлеры слышу,
Он говорит: я в щель твою пробьюсь,
Бобом своим досаду я утишу,
Ведь за тобою по пятам гонюсь;
Когда залает Серкио, под крышу
В ночи к тебе я с жаждою вломлюсь.
Шум подниму такой я неспроста,
Чтоб гневом изошелся подеста.

Я, Бека, за тобой следить привык.
Ты слышишь, я играю на свирели
И даже если сею базилик…
Но выдержит ли крыша, в самом деле?
На страже ухажеры всякий миг,
От серенад их дух спирает в теле.
Коль инструмента хочешь позвончей,
Компанией тебе сыграем всей.

Ты, Бека, и крепка, и коренаста,
С блестящей кожей, о, помилуй Бог!
Не увальнем ввалюсь к тебе – и баста,

В последний миг заката, изнемог.

Ты всё прекрасней кажешься мне часто,

Крадусь близ яблони и сам молчок;

Меня излечишь, перестав браниться,

И, верно, суждено нам примириться.

Канцона

С тех пор как с милым Лавром я в разлуке,
Утратив счастье, благо, мой Парнас,
Кумира, светоч и отраду рая,
С ним не расстался в мыслях ни на час,
«Что толку, – говорю себе я в муке, —
Что верен, коль его уж не встречаю?»
Едва ли обретаю
Я силы дать ответ прямой и ясный
О том, как я тесним судьбой злосчастной,
И ею праздный помысел взлелеян;
Затем был мрак развеян,
Когда рассудок снова я обрел
И меру осознал постигших зол;
Тогда возжаждал я уединенья,
Брел по лесу, унылый и печальный,
Пока о камень скальный
Не оперся, воззвав душой в смятеньи;

И плакал я, не ведая в кручине,
Я жив или мертвец уже отныне.

Вдруг издалече речь ко мне несется:
«Юнец, тебя узнала, мнится мне»;
И голосом подавленным и томным:
«Не видел ли ты в этой стороне,
Как юноша на белом иноходце
Промчался через лес в наряде темном?»
Тем криком неуемным
Нарушилось мое забвенье вскоре,
Не верил я, как бы в падучей хвори,
Что предо мной Деиопея – диво;
Как Иов, терпеливый,
Глазам своим поверил я с трудом.
И, подойдя, ей так сказал потом:
«Напрасно ищешь в зарослях колючих
Двух обреченных крест нести единый».
Глас отвечал невинный:
«Покуда, как Эгерия, от жгучих
Я не истаю мук, я плачу, стражду
И говорить с тобою, путник, жажду».

Зрю ссадины на коже белоснежной,
Царапины на розовых ногах,
Она – голубка из небесной дали
В терновнике, на ранящих камнях;
Власы у ней как у Венеры нежной,
В которых гибель люди обретали;
Мне сердце разрывали
Рыданий жарких горестные всхлипы,
Что даже адамант смягчить могли бы,
Оникс и сардоникс, агат с опалом,
И аспидовым жалом
Оно сжигалось, словно лед весной.
И севши тут, со стороны десной,
Продолжила: «Погибнуть мне в расцвете
Коль суждено, избавит смерть от муки;
Он клялся, что в разлуке
Не станет часа жить на этом свете.
О нем лишь говорить теперь я рада,
А сердцу в горе выплакаться надо.

С презреньем, с гневом сколько раз боролась,
Когда, с каким уменьем! средь препон
Искало сердце умиротворенья.
Я Марса с Фебом ведала агон,
Лицом бледнела, изменялся голос,
Как предавалась всем душевным смутам.
Огню была я трутом,
Себя прельщая этой ложью зыбкой.
Когда меня одаривал улыбкой,
Казалось, в мире были ярче краски,
И он, в обманной маске,
Иным, чем есть, являлся мне не раз.
Возлюбленный, блистал он, как алмаз,
А я фиалкой в этом свете млела!
Иными зрила я устои мира,
И дивный лик кумира
Сиял, как луч из горнего предела;
Уму казался счастьем этот жребий,
И мне не нужно было благ на небе.
И кто осудит наши заблужденья?

Увижу ли, божественный эфеб,
Тебя я вновь средь этих превращений?
Я мнила: ты прекраснее, чем Феб,
Так древле в наши дольние селенья
Меркурий нисходил от горней сени.
Пылаю, тщетны пени,
Хоть сердце тверже адаманта было;
Я, прежде непорочная, любила
Бродить в лесах за девственной Дианой,
Жила как мне желанно,
Благочестивым помыслом цвела,
Бежала от мужчин я, как от зла,
То осуждала, то звала Гимена,
То чаяла принесть обет монаший.
Вдруг, всё сильней и краше,
Взметнулся пламень необыкновенный,
Искрился он и, ослепляя око,
Казался колесницею пророка.

И в нем тогда явился Лавр цветущий
Там, где ни гарпий, ни лихих гадюк,
Ни хищных тварей, что в лесу засели;
С Евтерпою все касталиды вкруг

Там восседали под ветвистой кущей;
Пан, Палес, Вакх, Сильван, Церера, Делий —
Все танцевали, пели
Среди благоуханий, красок, звонов;
Венки из гиацинтов, анемонов
Плели гамадриады и напеи;
От муки багровея,
К Олимпу Марсий стоны воссылал,
Но о пощаде он не умолял.
Затем мне показалось: ветви, крона
Слюдою или алебастром стали,
Под солнцем заблистали,
Как дождь златой, Данае павший в лоно.
Земля, эфир, – всё вмиг позолотело,
Исчез, и Лавра больше я не зрела.

Покинутая, плакала от горя:
Уж не встречала я в лесной тени
Ни музы, ни дриады, ни сатира
(Вслед за Асканием ушли они),
Лишь звери здесь, да Эхо, пеням вторя,

Разносится средь скорбного эфира;
Так я осталась, сира,
Но тень одна отныне мой вожатый».
Тут, как внезапным ужасом объятый,
Ее спросил я: «Кто же это, кто же,
Скромна и столь пригожа,
Иль добрый Лавр тебе покой дарит?»
«На то отвечу, – нимфа говорит. —
Диана встала возле водной глади,
Затем исчезла, но являлась внове,
И благородной крови,
И славою покрыта в вашем граде;
Но без нее и шагу не ступлю я».
Потупила глаза она, горюя.

Мой разум был растерянности предан
От новой тени, в сердце же моем
Вновь образ Лавра вспыхнул в то мгновенье,
И даже я возликовал притом,
Сказав: «Как будет музою поведан
Тот пыл, что мне палит воображенье?
Ведь каждое сужденье

Бывает ложно, и сейчас – ущербно;
С тобой мы, нимфа, плачем страсто-терпно,
Но я тебя утешить не премину.
Ты, как Геро, в пучину
Не бросишься ль, бежав из этих мест?
С тех пор как видел я его отъезд,
Сокровище мне ниспослал Юпитер,
Что нужно б спрятать за семью замками,
К нему тянулся трижды я руками,
Но лишь страдал душой воспламененной
Я, высшею любовью побежденный».

«Едва ль учтивой, – нимфа возразила, —
Казалась тень, ведущая меня,
Скорей – его губительницей хладной;
Огонь познавши, с первого же дня
Душа одна лишь преданность хранила
Любви, что нас связала беспощадно».
Я тихо молвил: «Ладно,

Тебя утешил, так живи в надежде:
Весна придет, с ней Флора как и прежде,
Вернутся песни, танцы и забавы,
И боги в блеске славы
Пройдут с ним вместе чрез пиценский дол.
Смотри, отрады дух в тебя вошел,
Как этот зверь жестокий изъязвился!
Смотри: на адаманте золотые
Стихи его святые!»
Закончил я, и век вдруг обновился,
Она воздела к небу обе длани
И удалилась грациозней лани.

Канцона, что хотела донна эта?
Цветок искала. К Лавру отправляйся,
Поведать постарайся
О нимфе: какова, во что одета.
А после скажешь, как, с ним разлученный,
Живу и стражду я в тоске бездонной.

Сонеты
I. К Лоренцо Медичи

Тебе сонет послать я не премину.
Раз на дороге повстречал мужлана,
К бочонку тот присасывался странно
И дно лизал, точнее – сердцевину.

Ни капли не спадало на грудину —
Питийства, знать, искусник несказанный,
Он шею гнул с повадкой пеликана,
Всё начисто слизав за миг единый.

Не спрашивай, как месса завершилась,
И о попе том спрашивать не надо,
И как вино по капельке сочилось.

Он на бутыль сию смотрел с досадой,
Как только в ней вино пресуществилось,
Затем облобызал ее, как чадо,

И, выйдя за ограду,

Всё бормотал себе: «В Рим, в Рим, wein gut»;
И, дабы завершить прощанья, тут

Рыгнул пресмачно плут,
Отрыжку описать не хватит тщанья —
Прошла меж подбородком и гортанью.

II. К Лоренцо Медичи в неаполь

Кто б отнял «шарик», «поле», «молоток»
У этих глупых неаполитанцев
Иль сбил бы спесь с надменных капуанцев,
Тот саламандру б из огня извлек!
«Ну, Джанни, не плошай, вперед, игрок!»
Я лучше пса учую дух поганцев —
Всех торгашей их, наглецов, засранцев;
Синьор, у них не ценен поварок!

«О вежливости тутней ваше мненье?»
– Здесь вежливость ночным горшком прикрыта

(Отвечу вмиг): свинарник – загляденье!

«У-у! эти флорентинцы сибариты:
Утонченны, поди, до одуренья!»
На том пасутся олухи, тем сыты!

Бобов здесь не ищи ты.
На спрос ответят с придурью всегдашней:
«Моллюска вам? На площади у башни».

III. К Лоренцо Медичи об одном ужине

В тот вечер я со всеми пировал.
Линей вареных подали в ванили
И столько изощренных блюд вносили —
Их ни один подлец не надклевал.

Валились слуги с ног, вбегая в зал,
В чем лестницу негодную винили.
Угадывалось мной вино в бутыли,
Но, словно ястреб, ни глотка не взял.

Тот хлеб съедобным я назвать не вправе,
А поросенок был в соку и свежий

Лишь только на словах, никак не въяве.

Был кравчий неотесанным невежей:

Так руки грубы, молвлю не лукавя,

Ни дать ни взять две лапищи медвежьи.

И гости всё не реже

Толкались, чтоб распробовать хоть что-то,

И мненья выражали до икоты.

Как на дроздов охота —

То шепоты, то крики «э-э-э» да «дзи».

Что дальше было – сам вообрази.

IV. Против одного доктора, своего недруга

Рогожевый мешок я приоткрою

И к верху дном его перетряхну,

Посмотрим, что за пыль в нем – ну и ну!

По нюху пса легавого я стою.

Грубее б надо с бестолочью тою.

Он – круг, что Джотто вывел в старину,
А сколь он глуп, и молвить не начну,
Ведь не метать же бисер пред свиньею!

Всегда о нем глагол один и тот же:
Он задницу намял полой паландры
С таким покроем модным – идиот же!

Я знаю всё о свойствах саламандры,
Которую с другими видел в Кьедже,
И у него не более каландры…

И всё ж я не Кассандра.
Мне уважать ли чин его и звание,
Коль впал наш доктор в дуракаваляние!

Он хины окаяннее.
И чистое вино ему заказано:
Встал пред сосудом он миропомазанья.

Против Маттео Франко (V–XXIV)

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

Я, веруя в причастье, ненароком
Служителя Господня вопросил:
Как возлюбить Рахиль по мере сил,
Как в Псалмопевце смыслить мне высоком?

От слепоты в невежестве глубоком
Какое б средство в церкви получил?
Но вряд ли бисдоминский Михаил
Однажды снизойдет к моим порокам.

Сложи, Архангел, панцирь свой нагрудный,
Что надевал ты при былой бомбарде,
И дай тычка крольчихе той паскудной,

Что пахнет вся, как говорят в Ломбардьи.
Сто пять и пятьдесят сложить нетрудно…

Кайафа так писал; сгорели б хартьи!

И ежели в азарте
Ты не отрубишь правую мне руку,
Влей в глотку соус, огненную муку.

Ну, выкинул ты штуку!
Господне тело не для вас, злодеи,
Мошенники, плуты и фарисеи!

Не делай огнь слабее,
Чтоб больше за перо я не хватался —
Свет благочестия во мне остался.

Еще от сала в худеньких бочонках
Подагра сера Чеджиа не жгла,
Тебе я слал сонетов без числа,
И «пульчики» мои – в твоих печенках.

Летите, птенчики, на крыльях звонких
И мир наш раскалите добела,
Без страха клюйте, в том не будет зла,
Всех огорошьте на полях-сторонках!

Не церемоньтесь! Каждый мне глаголет,

Мол, кознеплетский стих мой больно ранит,
Но сам Парнас меня честит и холит,

Поэзия моя цветет, не вянет.
Ты слышишь рог? На битву звать изволит.
Мой стих тебя, о попик, оболванит,

Да и за мной не станет:
Завистнику, тебе встреплю я уши
И, словно вьюн, не задержусь на суше.

Приехал в Пизу я на день Антония.
Твои сонеты – дивные создания! —
Так мерзостны, как здешние лазании,
Как будто их варила Эрихтония.

Свидетель Вакх, поется благозвоннее,
Коль говорю тебе об их изъяне я.
Как Филомела, жертва злодеяния,
Так плачу я, так изливаюсь в стоне я.

Средь мешанин твоих мне ясно зримы
Бурьяссо истый, сплетник, сучий сын.
И как они звучат, неодолимы!

С тобою ангелочки, всякий чин:
Престолы, серафимы, херувимы,
А ты смердишь занудством, как кретин.

Что ж, грек мой Буркьеллин,
Дари свои сиянья Кирре, Низе,
Каким тебя увидел здесь я, в Пизе.

Смешно мне, олух в ризе:
Морочишь нас, монах ты бело-черный.
Так, Ave, рабби, сер Маттео вздорный!

В тебе две бабьих фиги вместо мозга
И нет, сер Лапоть, признаков мужских,
И ты дурнее дурней хоть каких,
Так что и уши б залепил известкой.

Пишу сонеты метко я и хлестко:
Один готов – другой сложится вмиг;
Раскинув сеть для крупных рыб морских,
Попотчую тебя отборной розгой.

О, как бы я польстил себе, когда ты
На шее след заветный бы явил

(Недолго, сер Острог, до этой даты!)

Железного ошейника; съязвил
Бы я: «Не трогать – жертва ката!
Ведь срам ей, словно хлеб насущный, мил!»

Когда б распотрошил
Тебя палач, яд брызнул бы мгновенно
Из требухи твоей, как из Келено.

Коль ранее в геенну
Не сверг бы Иисус тебя, свинья,
Тебя бы сдал Синедриону я.

Ко вшам ты, Франко, мой возводишь род,
Меж тем их на спине твоей избыток,
И сам Минос столь изощренных пыток
В аду тебе, подлец, не изберет.

За «грубияна», «прихвостня» в расчет,
Как пса, тебя скулить заставлю (прыток!)
От всех моих кусачих паразиток
Тебя и Agnus Dei не спасет.

Откуда взял, что сорок лет мне? Чу!
Мне также восемьнадесять пристали,
Как шмотки осужденных палачу.
Что ж, гусик мой, подлива не жирна ли?
Ты уличил себя же. Хохочу!
Как ты мудрен, ты хочешь, чтоб все знали?

Гораций не писал ли:
Tractant fabrilia fabri? Ты кастратец?
В башке твоей гуляет ветер, братец,
И средь твоих невнятиц
Мне виден ясно пентюх, остолоп.
За хобот твой тебя б подвесить, поп!

Так воздадим же стрекотанью дань!
Мое желанье петь не знает меры,
Извлек меня из бездны, из пещеры,
Избавил от нечестья молвить дрянь,

Но, пастырь, где же соль? И ты-то глянь:
Кальсоны у тебя уж слишком серы,
И то, что ты зовешь «святою серой»,

На них – коричневеющая срань.
Горжусь: немногим больше я пигмея,
Тебя ж оставлю в дураках, Галгано,
А ты с лицом безумца, иудея,

Обжора, жирный хряк, своей сутаной
Прикроешь то, что видел на тебе я —
Тот выкаток из зада Грациано.

Глупчино и Болвано!
Не ровен час, с терпением не слажу
И, как то следует, тебе я вмажу.

Послушай, что сказать тебе имею:
Твои делишки наперекосяк.
Ты утром жмешь рукою свой башмак,
В кровати измышляя ахинею;

Как разразишься басенкой своею,
Негусто плюнешь, после ж кое-как
Скроишь сонет поганый натощак,
И так отрадно станет дуралею!

Затем бежишь на розыск Анджолина,
И куколь пыжится, трясешь жирок,
Медведь, сатурнчик, глупая скотина;

И, зная, что тебя б сожрать я мог,
Лишь скорчит тот приветливую мину,
Скулишь: «Луиджи так меня допек!..»

Или порой, конек,
Я вижу, сер Каркунчик, как с бравадой
Симфонию испустишь ты из зада

И принимать мне надо
Учтивее кукушки эти звуки:
Из задницы осла не звонче пуки!

Ты дмишься, Франко, будто ты Бур-кьелло,
Но судит Анджолин, что порешь дичь.
Главу, как лев, возносишь, только клич
Заслышишь: «Гляньте, гляньте, вот так дело:

Наш сер Маттео, поп наш, так умело
Сонетики плодит!» О, сер Кирпич,
Ты знаешь точно, где сова иль сыч,
И где какая птица пролетела.

Но ты не Дза и не Орканья, да!
Стихи твои, sed verba iniuriosa,

Одна немецкая белиберда,

Их по-кьоджински строчишь для курьеза;

Колпак из них не склеить, вот беда!

Состряпаны все а-ля франсуоза,

Но есть одна заноза:

Не знаешь ты, о сладкая Бадесса,

Как толком справлена должна быть месса.

Ты заслужил двенадцать, вот и в гости

Идет к тебе тринадцатый сонет.

Он всем доступен, лакомее нет,

Вкуси же блюдо вкусное без злости.

Мои стишочки, как собаке кости,

Спадают манною от горних мет,

Впишу их в книгу, дабы видел свет:

Погряз в пороках ты, как пес в коросте.

Пока довольно этих на потеху.

Безропотно испей сию ты чашу,

Смотри, иначе лопнуть мне со смеху!

Сонеты я сюрпризом приукрашу,

Ты почешись, но не чини помеху;
Не спорь со мной – не расхлебаешь кашу,

А то и нос расквашу.
Того, кто смирен, бьют лишь негодяи,
Кто терпит, с тем учтивее всегда я.

По чести, знать, такая
Затрещина – ответное посланье.
Сер Жлоб, искусству ты на посмеянье,

Оставь же Марсу брани,
Сам лучше требник поутру листай,
Еще не растрепал его, лентяй.

Я вижу, пастырь, прыткий пилигрим
С воротника скакнул тебе на лбину,
И он там не один, как я прикину,
Ведь так не ходят в Иерусалим.

Тебе сонет я сочинил засим,
Дуриле, блудню, грязному кретину;
Не подольстишься ты и к челядину,
Сколь ни пои его вином своим.

Оставь свой виселичный капюшон!

Я видел, как светил ты голой сракой
Со всей Тартарьей, чей приют – притон.

Ты так дошел бы вплоть до Арманьяка,
Дупло, жабина, жалкий пустозвон,
Петух Бальдраккский, дохлая кошака,

Сер Дрябло ди Елдакко!
И правда, всыплю я тебе, блуднице,
Таких, что не забудешь, бенефиций!

В Сиене молвят сице:
«Ты мерзостнее даже Банкеллино».
Так прыгай: твое место – Сан Мартино!

Чтоб семь колодцев вычистил ты рьяно,
Тебе я кадку шлю и пуд свинца,
Там скипетр твой с короною глупца,
Там гребень твой и там же Дурлиндана.

Поплавай в стоках, скатик мой поганый,

И в них, глядишь, прибавится дрянца.
«Не выношу я твоего лица»,
Как молвил друг Риньери-капеллану.

По Пизе ходят слухи очень ходко,
Что ты алтарь свой променял на стол,
Где бьются в крикку. Ну же, сер Ошметка,

И кто б тебя святою Фиккой счел!
Окрашу-ка твой рыльник сковородкой,
Чтоб ты, ватрушка, тряпка и вафел,

Супец бы свой извел
Чрез уши, через нос и рот свинячий;
Вот доберусь до ребер старой клячи!

Осу злишь, не иначе.
Сколь ты проворен, смел, не вемо мне,
Я б тропнул палкой по твоей спине!

Ну ты и грохнулся, цела-то репа ли?
И прямо, сер мой, задницею на поле!
Глядишь, микстур каких бы и накапали,

Средств знаю много: не найду зацепу ли!
Тебе так не нажиться, словно Пепполи,
Скорей метлой ужопили б, отлапали;
Беги ж, как мышь, которую не сцапали,
А то с силками ходишь – не нелепо ли!

В стишках твоих сомнительна пиитика,
Ползешь всё крабом, на манер лунатика,
В бреду ли, пьяный, вроде паралитика.

В тебе занудство истого грамматика,
Смолою провонялся весь (глядите-ка!),
Горчащим нектаром aloè patico,

Скорее в математика
Тебя я превращу, в осла ученого
Или в калеку новоиспеченного.

Ты говоришь, не понял я? Гляди же,
Тебя расшифровал на этот раз.
О дружбе что болтаешь, дуропляс?
Мастак ты в кости, а они в престиже!

Возьмешь себе священство, ранг не ниже
Мельхиседека? К Дьяволу тотчас!
Эй, Флегий! Как Пифон, ты полн зараз
И ужаснуть способен, враль бесстыжий.

Не знаю как, разверзнется каверна,
Такая же, как встарь на стогне Рима,
И ты в нее падешь под грузом скверны.

Нет! виселица ждет тебя, вестимо,
Распятье лобызнешь нелицемерно
И кувыркнешься, петлею давимый.
Веревку дам, родимый,
Чтоб ты поверил мне в минуту ту,
Которую я пряником сочту.

Воздам хвалу Христу,
Что я тебя нашел, несчастный, злобный,
И буде ты сей пастырь преподобный.

Ты виселицей мечен от рожденья,
Во Франции сказали бы: крестом.

Каким слывешь ты, промолчу о том,
Достоин топора – и всё сужденье.

Все знаю в Бисдомини преступленья
И что сварили бы тебя живьем,
Но молвят: я ко всем проникнут злом,
И значит, при себе оставлю мненье.

Как то, что привлечет к себе магнит
Железо, так и верно то, пожалуй,
Что жир свиной твой в пламени горит,

Сожрет тебя костер мало по малу,
Но блюдо, что готово, так смердит,
Как это, верно, не пристало салу;

Здесь дело к карнавалу,
Но ходишь, знаю, клянчишь всё в мольбе,
Чтоб помолились люди о тебе.

О чем я, Франко, мог бы молвить «смелый»?
О мудрости, мече иль самостреле.
Питаешься росой ты, пустомеля,
Как куропатка на холме Морелло;

Ты хочешь быть отважным, как Буркьелло,

Но в этом положеньи, в самом деле,
Не даст тебе магического зелья
Камена; ах, мой сладкий сер Баччелло!

Сдается мне, сер Боров, что по нраву
Всегда тебе разверстая клоака,
Ты плаваешь в дерьме, упав в канаву;

Твои стихи, облезлая собака,
Как скат морской, бесхвосты и безглавы;
Не лавр – бурда тебе мила однако!

Но не скажу я «срака»
Тебе сейчас, хоть ты в вонючей жиже,
Пока не уколю, но погоди же:

Уж карнавал всё ближе!
Тогда не пощажу, изжарю в хлам.
Где б ни был, крепко приберу к рукам!

О сер Матгео, ты встаешь с одра
Как на решетке тесто для лазании,
Искоренять порок ты полон тщания,

Как Бог, как солнце, образец добра.

За благочестие тебя, придет пора,
Повесят, и на стогнах в ликовании
Воскликнем все: «Испания! Испания!»
Раз я молчу, ты не бери пера.

Ты говоришь чванливо, что не смею
Давать ответ на вызовы твои,
Что я вилланов-певчих не имею,
Что с короб я наплел галиматьи.
Агнессы сын, ты был рожден не ею —
Ублюдок ты, отродие змеи.

Как выпады сии?
Себя Буркьелло мнишь, писака жалкий,
Спасался бы, как нетопырь от палки!

Поэтишку ты шлешь из малодушья
На поле брани, серенькую мышь,
И будет весь исколотый малыш
В мышином терне, говорю не чушь я!

Что дмишься так, горбулина верблюжья?
Тебе еще не задал я, шалишь!

Не нападаю, разминаюсь лишь,
Ведь цель мала для моего оружья.

Не он, а ты мне нужен, супостат.
Не схож ли ты с пиявкой той трекля-
той,
Что бедокурит в мудях у ребят?

Ту гиль, которой потчуешь меня ты,
Порой твои писанья уравнят,
Но дверца Трои у тебя уж взята.

А твой сер Комината
Такую кашу заварил здесь мигом,
Что Этеокл не съел бы с Полиником.

Дам бой всем «-акам», «-икам»;
Мурло как у совы, а рот – манда,
Язык же – чтоб смачней лизать всегда!

Галдишь ты, право, горлопан, зело,
И семь телков зычней бы не мыкнули;
Как ты в брехне, вовеки не тонули
В Пандектах славный Бальд и Бартоло.

Услышишь стрекотню, и понесло;
Заложишь плащ, коль жарко, как в

июле,
Так у пройдох подслащены пилюли,
Что златоустом кажется трепло.

Ты говоришь, мол, скользкою улиткой
Был поднят на смех доблестный Тезей,
Что с однoруким людом сладил прытко;

Мол, комарами осажден Орфей,
Зане от лавра больше нет прибытка,
И говорю, мол, точно Иудей.

В церковный Юбилей
Толпой бредут такие ж пустобрехи,
Но жрать тебя мои устали блохи.

Секрет тебе открою, он хорош,
И не постичь его пустоголовым,
Как раз твой случай, так послушай, словом,
Как можно резать надвое пердеж;

Он тих ли, громок, в ум ты не берешь,
Но коли хочешь стать Фомою новым,
Сунь в задницу свой нос, а я покровом

Тебя прикрою, да сполна вдохнешь.

Здесь рядом мона Луна, всех пригожей.
«Что-что? Ну, не тяни за поводок».
Скажу, скажу; ты жаждешь знать, похоже!

В воде был грех: родился пузырек,
Поднялся вверх, ножом его без дрожи
Разрежь на половинки ты, дружок.

Ну-ну, расклюй чеснок!
Сер Таракан, так будешь знать отлично,
Как трескает осел весною зычно.

Тебе оливу шлю миролюбиво.
Хочу, чтоб ты меня очистил, поп,
(Да буду светлым, как гелиотроп!),
Сколь ни была б твоя душа паршива.

Ты душка, коль сказать красноречиво,
Стал доктором, хоть негде ставить проб,
Слюнявый и свинячий остолоп,
Салажка и любимчик мой смазливый.

Даю тебе корону, скипетр, славу я,
И кресло триумфальное, и силище,
И громкий титул с властью и держа-
вою,

И отведу в подобие святилища,
Где ложь, измена и дела неправые,
Приют порока, всех грехов вместили-
ще.

Господь, в сие страшилище
Метни огонь и молнией ударь!
Лишь молвлю «Франко», вонь учую га-
ри.

Дубиной бы по харе;
Но бросим спор, сонетов больше нет,
Ведь ты в броню дамасскую одет.

Другие сонеты
XXV. К Креспелло

Дельфин горбатый – вовсе не Креспелло;
Кривой, в коросте, скрюченный, убогий,
Тот выше глаз, тот ниже, колченогий,
Затмишь собой искусство Донателло!

Как судно порт, так ищешь то и дело
Завалинку, скамейку у дороги,
Без них-то сразу опочиешь в Боге,
А так приткнешь свое, как рухлядь, тело.

Молчком ты не осилишь и полшага,
Разносишь сплетни за десятерых,
Болтаешь, как последняя чертовка.

С предательскою рожей доходяга
Дугою согнут на ногах кривых,
И ясно, что гнила душа-плутовка.

В чем у тебя сноровка?

Вернешься к наковальне и подковам —
Хоть кузнецом-то ты слывешь толковым!

XXVI. К Бенедетто деи

Вначале тьма была, и несть конца ей!
Ты видишь, друг мой Бенедетто Деи,
Как клюнутые гнутся фарисеи,
«Аве Мария» всуе восклицая.

Смеешься ты, в дороге созерцая
Как ищут пилигримы-дуралеи
Таверну и сжимают агнус деи,
Розарием докучливо бряцая.
И куколи не высмеять нельзя нам:
Псалмы мусолят, четки теребят,
Уподобляясь глупым обезьянам.

На костылях втащиться в райский сад
Овечки жаждут, хроменьки, с изъяном,
И кажется, что терны их язвят.
Но от закрытых врат
Они сорвутся в бездну тьмы исконной

И прямо в зубы твоего дракона.
Не избегут урона:
По смерти не блаженство будет им,
А пекло, прутья, смрад и серный дым.

XXVII. другу Пандольфо о душе

На диспутах толкуют деловито,
Где вход, где выход у души – вотще!
И, мол, она как косточка в леще;
Зайдут в тупик, а ложь их шита-крыта.

Цитируют Платона, Стагирита,
И что обрящет мир, рекут еще,
Душа в псалмах, но чушью вообще
От слов их наша голова набита.

Душа, она (суди же на свой вкус),
Как сахарный орешек в теплом хлебе
Иль в булку вправленный говяжий кус.

Тем бредням верить незавидный жребий:
Наобещают-то – велик искус,

Но, как на рынке, всучат лишь отребий.

Кто побывал в Эребе,
Хоть нет пути назад, а скажет так:
Мол, с лестницей ходил туда, чудак;
Наскажут всяких врак,
Там, дескать, ждет нас мягкая перина,
И рябчики, и сладостные вина!

Пусть веруют кретины!
А мы, Пандольфо, ляжем в твердь сырую,
И мнихи не споют нам «аллилуйю».

XXVIII. К Бартоломео делл'Авведуто

Бартоломео, лишь расстался с вами,
Забыл о наставлениях, так вот,
Со мной изрядный вышел анекдот:
Стал видеть ложь прозревшими глазами.

В еврейской книге, первой меж томами,

Прочел я: Петр гулял по глади вод;
Подпорки выломав, обрушил свод
Герой Самсон в филистимлянском храме;

В своей корзинке кроха Моисей
Приплыл туда, где на реке запона,
(Там хорошо рыбачить, ей-же-ей!);

Разверзся в море лаз для фараона,
Лишь тот в него – сомкнулся поскорей,
И сгибло двадцать тыщ во время оно.

Так Библия резонно
О Лазаре воскреснувшем лепечет,
О всех калеках, в ком недуг и нечет;

Болящих всех излечит.
Так брат Кристофано глаголет нам.
И значит, бочкою не станет грамм.

XXIX. К Марсилио Фичино

Достопочтенный сыч, тебе едва ли
Опору любомудрие подаст,

Как выпь в болоте, ты когтист, глазаст,
И зубы как у пса в его оскале;

Вгрызешься так, чтоб хватку не разъяли,
Гузном задавишь – ты вельми задаст;
Люд шепчется (он слух пускать горазд),
Что нам с тобой не избежать баталий.

Толкуют: «рохле с дедом воевать»,
Что с грозным видом ходишь ты в Восьмерку
И жаждешь господина обскакать.

Чем выше ты, тем жди больнее порку,
Уж лучше, как сурку, тебе дремать,
Забившись молча в яму или в норку,

А то сломаю корку:
Стоять тебе ристалищным болваном
В бумажных латах, в шлеме оловянном
В потребу играм бранным.

Но для тебя, клоачник, в самом деле,
Местечко будет лучшее – в борделе.

XXX. на миланцев

«Видал ли флорентинца, Амброзин,
Что в доме у Пиццелло жрет от пуза?
Подлец он, натуральная медуза,
В рот репы не возьмет сей сучий сын.

Скажу, что он наисвинейший евин,
Болтун, жиряк, никчемная обуза,
Я б дал ему, и вовсе без конфуза,
Затрещину сполна разок один.

Ну, флорентинец, черт тебя принес!» —
Кричит вдогонку. – «Помолчал бы, брат,
Узнать по бычьей шее – не вопрос!

Пусть верят, что в Милане аромат
Как в цветнике иерихонских роз,
Но дудки! в том меня не убедят».

Миланцы не хотят

На яства тратить целые деньжища,
Подливка им да репа, да свеклища

С каштаном теплым – пища.
Я приберег сонет свой под конец
И прожую полакомей хлебец.

XXXI. По тому же поводу

Капусту, репу, редьку со свеклою
Здесь каждый уминает за троих,
Столь твердолобы все, что я бы их
Не смог задеть своей остротой злою.

Нет, от насмешек руки я умою,
То труд не для людей, а для святых,
У всякого кулак здесь больно лих,
И лучше обходить их стороною.

Хрумтяшкою морковку назовут,
Изюм же окрестят пинкиероли;
Собаки бесят и повозки тут,

К тому ж повсюду гадки равиоли.
И, верно, я простил бы здешний люд,

Когда б не ухали, как совы в поле.

Здесь тесно, как в неволе;
Все мечутся от мала до велика.
Что на Крещенье здесь грохочет дико?
Дурацкая музыка.
И я уверен, что в домах Милана
Приют желанный лишь для таракана.

XXXII. Во славу Архангела Гавриила на день Благовещения

О вестник, посланный сегодня к нам
Всевышней волей в лучезарном свете
Заступником в горниле лихолетий
Всех смертных, столь приверженных грехам;

О пилигрим, что дал простор крылам,
Представши перед Девой в Назарете
И от Творца принесший в долы эти
Благую весть, отрадную сердцам;

Посол, провозгласивший искупленье,
Хочу тебя восславить, Гавриил,

В тебе Господней истины лученье;

Молю, Архангел дивный, дай мне сил
Несчастия снести, даруй спасенье
От Ворога, что в небе бунт чинил.

Литература

[1] Roscoe W. The life of Lorenzo de' Medici, called the Magnificent. Vol. I–III. — London: 1797.

[2] Lorenzo de' Medici. Opere, a cura di Tiziano Zanato. — Torino: NUOVA UNIVERSALE EINAUDI, Giulio Einaudi editore, 1992.

[3] Lorenzo il Magnifico. Poesie, a cura di Federico Sanguineti. — Milano: 2010.

[4] Клулас И. Лоренцо Великолепный. — М.: Молодая гвардия, 2007. (Жизнь замечательных людей).

[5] Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. — М.: Наука, 1989.

[6] Angelo Poliziano. Le stanze e l'Orfeo ed altre poesie. — Società Tipografica de' Classici italiani, Milano: 1808.

[7] Angelo Poliziano. Poesie italiane, a cura di Saverio Orlando introduzione di Mario Luzi. — Milano: 1998.

[8] Orvieto P. Poliziano e l'ambiente mediceo. — Rome: 2009. [9] Полициано А. Сказание об Орфее. Пер. С.В. Шервинского, статьи А.К. Дживелегова и М.Н. Розанова. — М.-Л.: Academia, 1933.

[10] Pulci Luigi. Opere minori, Poemetti in ottava rima. Orvieto P. — Mursia, Milano, [1986].

[11] Carrai St. Le muse dei Pulci. Studi su Luca e Luigi Pulci. — Napoli: Guida editore, 1985.

[12] Pulci Luigi. Morgante e opere minori, a cura di Aulo Greco (vol.1–2). — UTET Libreria, Torino: 2006.

[13] Sonetti Di Matteo Franco E Di Luigi Pulci Assieme Con la Confessione: Stanze in Lode Delle Beca, Ed Altre Rime Del Medesimo Pulci, Nuovamente Date All. — BiblioBazaar: 2010.

[14] История литературы Италии в 2-х т. Т. 1: Возрождение / Под ред. М.Л. Андреева. — М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000.

Сведения о русских переводах

Честь открытия Лоренцо-поэта в России принадлежит Валерию Брюсову («Триумф Вакха и Ариадны. Карнавальная песнь», 1920). В 1974 г. в томе «Европейские поэты Возрождения» «Библиотеки всемирной литературы» опубликованы переводы Е. Солоновича: «Вакхическая песня», «Ненча из Барберино» (сокращенная версия) и два сонета. Позже в разных сборниках печатались избранные сонеты в переводах С. Шервинского, Р. Дубровкина и А. Миролюбовой.

Произведения Полициано переводились мало. «Сказание об Орфее» в переводе С. Шервинского вышло в 1933 году [9]. В различные антологии западноевропейской поэзии в советское время включались образцы его лирики. Из «Стансов на турнир» неоднократно публиковался эпизод охоты (кн. I, окт. XXV–LIX) в переводе Е. Солоновича и в хрестоматии Б. Пурищева (1978) небольшой фрагмент «Описание Кипра» (кн. I, окт. LXX–LXXVIII) в переводе С. Шервинского. Таким образом, полностью на русском языке «Стансы» публикуются впервые.

Два отрывка из «Большого Морганта» Пульчи в переводе С.Шервинского впервые были опубликованы в вышеуказанном томе «Библиотеки всемирной литературы», еще один фрагмент вошел в хрестоматию Б. Пурищева (1978). Ранее этого времени публикаций Пульчи, как отдельных, так и в сборниках, в России не выявлено. После официальной отмены цензуры, в антологию «Итальянская поэзия в русских переводах» (М., Радуга, 1992) вошло два сонета (см. XXVII и XXXI наст. издания) в переводе Р. Дубровкина.

Комментарии

Переводы выполнены по изданиям: [2], [3], [6], [12] и [13] (см. список литературы).

Лоренцо Медичи
Сонеты

Была пора, когда лучи Титана…

Титан — обозначение солнца, заимствованное из античной (древнеримской) поэзии.

Филомела — см. примеч. к «Стансам» Полициано (кн. I, LX).

Как Геркулес, что к жизни возвратился. — Подразумевается тот факт, что Геркулес, спустившись в Царство мертвых и пленив Цербера, вернулся обратно.

Сонет, написанный в Реджо, когда я возвращался из Милана, где узнал, что донна занемогла.

Громовержцева сестрица — Юнона, сестра и одновременно супруга Юпитера.

Цитерея одно из имен богини Венеры, по известному мифу, любовницы Марса.

Автор призывает Аполлона, покровительствовавшего врачеванию, излечить больную даму, заклиная его именем Дафны, первой возлюбленной бога.

Скажи мне, лучезарная звезда…

Этот и следующие за ним три сонета написаны Лоренцо на смерть Симонетты Веспуччи.

Вслед солнцу, что спешит к черте закатной…

Клития — цветок гелиотропа, названный так по имени нимфы, превращенной в него. См. также примеч. к октаве LXXIX книги первой «Стансов» Полициано.

Джиневре Бенчи (I–II)

Джиневра Бенчи (1456–1521/1530) — дочь гуманиста Америго Бенчи, одна из образованнейших женщин своего времени, представительница знатного флорентийского рода, дружественного Медичи. Ее имя широко известно в основном благодаря портрету, выполненному Леонардо да Винчи. Лоренцо посвятил ей два сонета, которые принято относить к его «духовным» стихотворениям (rime spirituali).

Populi meditati sunt inania — Цитата из Второго Псалма: «Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania?» («Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?»)

Мария — одна из сестер Лазаря из Вифании, в доме у которого останавливался Иисус Христос.

«Женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его». Лк.10:38.

Эклоги
Аполлон и Пан

…ключа Пегасова волной. — Иппокрена, источник в скале горы Геликон. Согласно легенде, он возник под ударом копыта крылатого коня Пегаса.

Низверг Стеропа в хладный Ахерон. — Бог мстил циклопу Стеропу за то, что тот выковал молнию, которой Юпитер поразил сына Аполлона Фаэтона, правящего колесницей Солнца.

Кинфий — одно из имен Аполлона.

Аркадия — область в Древней Греции, в которой, согласно мифу, обитал Пан, бог пастухов.

Сильваны — низшие лесные божества в римской мифологии.

Богиня, порождение пучин… — Обращение к Венере.

Ликаон — сын аркадского царя Пеласга; в наказание за совершенное преступление он был превращен в волка.

Зверь… — Медведь.

Каллисто — аркадская охотница, спутница Дианы. После смерти от стрелы мстящей ей Дианы была превращена Юпитером в созвездие Большой Медведицы.

Поэмы
Соколиная охота

Канатьер (*canattier)* — итальянский охотничий термин: тот, кто ведет собак, спускает их, натравливает и т. п.

Строццо — Строццо ди Марчелло ди Строцци (1424 после 1480) представитель прославленного семейства, первоначально соперничавшего с Медичи.

Бак — здесь: *infrescatoio* — емкость для охлаждения чего-либо, прообраз современного холодильника. *Прокисшее вино — треббьяно мнят…* Т. е. все так хотели пить, что прокисшее вино (cercone) им показалось треббьяно (сорт итальянского белого вина).

Строфа из другой редакции поэмы.

Приятель… — Принято считать, что это обращение к Анджело Полициано.

Пир, или Пьяницы

Капитоло I

Терцина шутливо перекликается с традиционным оборотом классической поэзии (см. Данте, «Ад», XXX, 1; Петрарка, «Триумф Любви» I, 1–3; Пульчи, «Большой Моргант», IV, 2, 1).

Крестьянин, тот, что груб весьма… — Данте, «Ад», XXIV,7.

Врата Фаэнцы … — Название северных ворот старинной Флоренции.

Как вдруг увидел… — Данте, «Ад», III, 55–57.

Бартолино — Бартолино ди Бартоло Тидальди (ум. в 1488 г.), флорентинец знатного происхождения, близкий друг Лоренцо. В поэме ему отведена роль первого проводника, как Вергилию в «Божественной Комедии» Данте.

К Рифреди…Мосту (Ponte a Rifredi) — старинное название предместья Флоренции на берегу речки Терцолле. Ныне — Рифреди, в черте города.

Джаннесси — имя хозяина трактира.

…делла Спада — полное его имя Марко ди Ландо ди Серроне делла Спада.

…греческим… — Популярное в Италии вино, мальвазия.

Изобличится правдой всяко зло… — Данте, «Рай», XVII, 53–54.

Подагра — в оригинале: «*gamberaccia*» — народное название болезни ног, варикозного расширения вен.

Ачинуццо — прозвище, образованное от итал. «acinuzzo» — виноградная косточка, виноградинка. Исследователи полагают, что здесь речь идет о великом философе Марсилио Фичино. Противником вина он назван иронически.

Антеллы доблестный приор — Франческо ди Томмазо ди Нофри, настоятель коллегиальной церкви Санта Мария дель Фьоре (ум. в 1478 г.)

Фьезоланский пастырь… — Антонио дель Альи, епископ Фьезоле в 1467–70 гг.

Капитоло II

Стыдясь отчасти и смеясь отчасти… — Петрарка, «Триумф Любви», I, 29.

…тот, кто у мечты во власти. — Данте, «Чистилище», XXXIII, 31–33.

Едва ль поспеет за тобою пард… — Петрарка, «Триумф Целомудрия», 37–39.

Адовард — по его собственным словам (vv. 41–42), он приор церкви Сан Джованни, однако в документах эпохи такой личности не зафиксировано.

Пародируется язык научных трактатов.

…жажду натуральную… — Данте, «Чистилище», XXI, 1.

Я, выпив, паче влаги вожделею. — Ср. Иоан. 4:13–14: «… всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять».

…пил бы… только носом… — По-видимому, для того, чтобы иметь возможность болтать (см. ниже по тексту).

Кандиотто Теджиа — хозяин лавки или трактира, упоминаемый в литературе эпохи.

Капитоло III

Бертольд Корсино — Бертольдо ди Джерардо Корсини (1415–1497) занимал важные посты во Флоренции: приор, гонфалоньер юстиции, подеста; член городского совета при Лоренцо Медичи.

Хватило бы для мельничных колес… — Имеется в виду водяная мельница.

с сыном… — Бертольдо имел пятерых сыновей; о каком из них идет речь, неизвестно.

Петрарка, «Триумф любви», I, 53–54.

Распялил губы, как в огне недуга… — Скассина напоминает мастера Адамо у Данте («Ад», XXX, 55–57).

Шатнется так, чтоб жажду пошатнуть. — У

Лоренцо изысканный каламбур: «se *balena, e' non balena a secco*», где «*balena*» имеет двойной смысл: «balenare» — «сверкать» (о молнии) и «barcollare» — «шататься, быть непрочным», т. е. «сверкает как молния, но без грома, так как он не сухой, а влажный от вина».

Джулиан Джинори в 1466 году состоял в должности подеста в городе Биббиена.

Всклянь — до самого края сосуда.

«Драгончино» — название таверны.

Капитоло IV

О толстяке… — О Стеккуто.

Мессером Пьеро — Пьеро ди Медичи, отец Лоренцо.

Бельфраделло воплощает глупое тщеславие и напыщенность многих высоких сановников. Личность не идентифицирована.

…глупое созданье… — Данте, «Ад», VII, 70–71.

…дель Вантаджо — Антонио дель Вантаджо, хозяин таверны во Флоренции. Выполнял поручения Лоренцо Медичи по отправке его личной корреспонденции. Кроме того, «vantaggio» по-итальянски означает «выгода».

Названия знаменитых флорентийских таверн, упоминаемых также у Ф. Саккетти, Буркьелло и у др. писателей.

А третий… — Не названный в поэме по имени Антонио Скьяттезе (1429–1482), проповедник, аббат монастыря Санта Мария Новелла. Вышеописанные его два брата ближе неизвестны.

«Жажду!» молвил на кресте. — Иоан. 19:28.

…бед горнило. — Жажда.

Капитоло V

Новый «наставник» Лоренцо — Настаджо Веспуччи, нотариус синьории, отец знаменитого Америго Веспуччи.

Как встарь… с водою жар сопрягся… — Реминисценция из Лукреция («О природе вещей»,V, 797) и Овидия («Метаморфозы», I, 430–433).

…эмаль песка — аналогия образа Данте, «Ад», IV, 118. В переводе М.Л. Лозинского «на зеленеющей финифти трав».

Верховной силой… — Данте, «Ад», XII, 91.

Введение зарождения лягушки из плевка служит комическим отображением фантастических видений из поэмы Данте, также может восприниматься как искажение реальности в глазах пьяного.

Нотариальный акт им сотворится… — по-видимому, имеется в виду «заказное» завещание, составляемое нотариусом в пользу конкретных лиц. *Киприан* (ди Качио) и *Россо* — ближе неиз-

вестны.

Строццо — См. примеч. к строфе XIV «Соколиной охоты».

Терцолла (Терцолле) — речка, протекающая в районе Рифреди, ныне в черте города.

Джунтино — это уже упоминавшийся (III, 66) Джован Джунтини.

…всех кручин. — Похмелье.

… арбитр — Строцци.

Смысл: «так были оглушены речью Строцци, как будто находились вблизи порогов Нила».

Капитоло VI

Ахат — персонаж «Энеиды» Вергилия, постоянный спутник Энея. Его имя стало символизировать беспредельную преданность.

…Веторию Антону — Антонио Веттори, приор во Флоренции в 1462 и 1468 г.

Стал доктором… — Ср. IV, 81.

Аньол Бандини — Аньоло ди сер Джованни Бандини (ум. 1486), нотариус и приор Флоренции.

…раздумьями стесненный… — Данте, «Ад», III, 31.

…в вине божественном, как небо. — У Лоренцо здесь каламбур «di-vin», что может читаться как «divin» (божественный) и как «di vin» (относящийся к вину). По-русски это передано повторением

в строке ряда букв, образующих слово «небо».

Боттичел — Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (1445–1510), великий живописец, автор полотен «Весна», «Рождение Венеры» и др. Его прозвище «Боттичелло» означает «бочонок», так как он отличался тучностью.

…с полной бочкою идет. — С полным желудком.

Приятель — Анджело Полициано. *Ридольфо Лотти* — не известен.

… венчан, словно в карнавал. — Имеется в виду карнавальная кукла. Ср. IV, 38.

Под утро снится правда лишь одна. — Сны под утро считались вещими. Ср. Данте, «Ад», XXVI, 7.

…каплю… — Комментаторы указывают, что «goccia» здесь имеет двойное значение: «капля вина» и «апоплексический удар».

… горний пыл — furor divino («божественное безумие»), одно из понятий философии Марсилио Фичино.

…отменного питья — Вина.

И каждый млад… — Полициано было 15 лет, когда писалась поэма, если допустить, что это 1469 год.

Пиппо Джуньи — Филиппо Джуньи, подеста Кампи в 1478 году.

… Бертольда… — Возможно, это уже упомянутый (III, 11) Бертольд Корсини.

Капитоло VII

…к возку и рогу. — Воз — Большая, рог — Малая Медведица. См. Данте, «Рай», XIII, 7–12.

Охладитель — см. примеч. к строфе XLI «Соколиной охоты».

Краснобай — сер Настаджо.

Люпичин Тедальди ближе не известен.

Потоп нещадный учинен. — Много выпито.

Бенедетто — возможно, Бенедетто Альберти (ум. в 1511 г.), приор Флоренции в 1470 и в 1501 годах.

Леонардо — тот, кто «испустил ветры» (v. 54). Леонардо ди Рикко да Чиньяно (ум. в 1478 г.), настоятель старинной церкви Санта Мария Ассунта ди Стия. В этой главе он еще назван Антеем (vv. 80, 84) и «стийским пастырем» (v. 106). Жил во Флоренции и в Казентино. Действует до конца седьмой главы и в начале восьмой. Вначале о его прежних приключениях повествует Настаджо, а далее он сам предстает героям.

Не нужно ни укропа, ни фасоли… — Зелень, бобовые и корнеплоды использовали со времен античности для возбуждения аппетита.

«*Лучника*» … — В оригинале Леонардо «вытас-

кивает стрелу» (trar di freccia). Здесь переносный смысл, ср. VI, 107.

Цедителя… — Условный перевод слова «torcifeccia», означающего специальную ткань для отцеживания и собирания винной гущи.

Три раза… — Анафора Вергилия («Энеида», VI, 700–703) и Данте («Чистилище», II, 79–81).

…во мне застряло — Т. е. не смог больше пить.

Земная жизнь… на половине… утратил. — Пародийное использование слов из первой терцины «Божественной Комедии» Данте. См. «Ад», I, 1–3, пер. М.Лозинского.

Капитоло VIII

Кошелка — в смысле: пищевод. У Лоренцо — «охотничья сумка», carnaiuolo. Смысл непристойный.

…задом, что звенел трубою — Данте, «Ад», XXI, 139.

Поп Арлотто — Арлотто Маинарди (1426–1484) флорентийский священник, которому приписывается собрание афоризмов «Motti e facezie del piovano Arlotto» («Поговорки и изречения священника Арлотто»). В народной традиции его имя стало нарицательным в значении удалого гуляки, пьяницы и чревоугодника.

Таинство — евхаристия. Здесь явная аналогия

(см. I сонет Пульчи наст. изд.)

Сер Жирняк, как и далее *Пузо* — обращения к Настаджо.

Амбра

…куст Киприды — Мирт.

…старого Тифона. — Для Тифона, своего возлюбленного, богиня зари Аврора испросила у богов бессмертие, но забыла попросить вечную молодость.

Кавр — северный ветер.

Морелло — холм неподалеку от Флоренции.

Как твердь земли дрожит и тяжко дышит… — Имеются в виду сольфатары, серные источники вблизи города Вольтерра.

Омброне — река в Тоскане. *Лавр* — под этим именем автор вывел самого себя.

…рог кривой… — Рог считался атрибутом речных богов, которые всегда изображались рогатыми.

Карнавальные песни

I. Песня торговцев конфортинками

Конфортинки(confortini) — сдобное кушанье, приготовленное из теста с добавлением яблок и перца.

«Дни» («tempo») — на карнавальном жаргоне означали женскую менструацию.

Слово «*сосед*» («vicino») — на жаргоне также имело непристойный смысл.

Кватгрино — мелкая монета, имевшая хождение во Флоренции.

«Бассетта» — примитивная карточная игра. Во время карнавала ее правила принимали сексуальный характер: победившему выпадало «sopra» («над»), а проигравшему «sotto» («под»). Соответственно, не проигравшему и не победившему доставалось «sanz'uomo» («без человека»), и он открывал свои карты.

«Поток» («flusso») — некогда популярная карточная игра, где игроки должны были собрать последовательно карты одной масти. Здесь же слово «поток» имеет и второй, непристойный, смысл (см. примеч. к 7-й строке).

Беттини Сфорца — герцог миланский, в начале карьеры состоял посланником при французском дворе. Почему Лоренцо упомянул его имя, не

понятно, очевидно, здесь имеет место какой-то намек.

III. Песня вафельщиков

Чьялдони (итал.) — вафельные трубочки.

Приводим рецепт чьялдони из поваренной книги Пеллегрино Артузи «Наука готовить и искусство хорошо есть» (1891), соответствующий описанному у Лоренцо:

«Положите в кастрюлю 80 г муки и 30 г белого сахара, 20 г подогретого лярда, 7 столовых ложек холодной воды. Прежде размешайте в воде муку и сахар, затем добавьте лярд. Поставьте вафельницу на раскаленную печь; когда та нагреется, откройте ее и вливайте по пол-ложки получившегося блинного теста. Закройте вафельницу и поворачивайте на огне; когда вафля приобретет каштановый цвет, выньте ее и сверните в трубочку концом тростинки или просто руками, там же на раскаленном железе или на куске грубой ткани, расстеленном на очаге. Это нужно делать очень быстро, т. к. остывшую вафлю свернуть невозможно.

Если вафли прилипают ко дну, смазывайте вафельницу время от времени лярдом, а если

они разваливаются, то добавьте немного муки. Вафельные трубочки вкусны и сами по себе, но еще лучше начинить их сметаной, взбитыми сливками с крем-брюле или пудингом».

V. Песня циветты

Циветта — небольшое хищное животное семейства виверр. Циветт держали в богатых домах в качестве питомцев. Из секреций этих животных получали особое ароматическое вещество, использовавшееся в качестве благовонной мази и как лечебное средство. Данную песню во время карнавала исполняли ряженые, изображающие торговцев мускусом.

VI. Песня крестьянок

Арчетри — поселок близ Флоренции, расположенный к югу от города.

IX. Песня цикад

Цикады — здесь: в значении болтливые люди, сплетники.

Анджело Полициано
Стансы на турнир

Книга первая

I. *…столицы…* — Флоренции. *…царицы,/чей светоч третье небо наполняет…* — имеется в виду богиня Венера. Согласно теории Птолемея Клавдия (ок. 87—165 гг. н. э.), вокруг земли, расположенной неподвижно в центре вселенной, вращаются девять концентрических сфер, из которых третья — сфера планеты Венера.

II. *О дивный бог…* — обращение к Амору вместо традиционного воззвания к Музе восходит к «Amores» Овидия и «Фьезоланским нимфам» Боккаччо. *…тосканского барона…* — Джулиано Медичи. *…этрусской Леды…* — подразумевается Лукреция Торнабуони (1425–1482), супруга Пьеро ди Козимо Медичи, мать Лоренцо и Джулиано. *Этрусской* здесь: флорентийской, по названию древних племен, населявших территорию современной Тосканы. Этрурия — поэтическое название Тосканы. *Леда* — в древнегреческой мифологии: жена царя Спарты Тиндарея, мать Кастора, Полидевка и Елены.

IV. *И ты, о Лавр…* — Лавром в своей поэме Полициано называет Лоренцо Великолепного. Форма имени Лоренцо — Лаврентий, в переводе с греческого означает «увенчанный лавром».

V. *…от нумидян до Боота,/ От Инда до закатных вод…* т. е. по всему миру; перечисляются крайние точки света. *Нумидяне* — жители Нумидии, древнего царства на территории современного Алжира. *Боот* — греческое название созвездия северного неба (Волопаса). *Инд* — река в Индии, располагавшейся, по представлениям античных географов, у восточного края Земли. Закатные воды — Атлантический океан. В оригинале стих 6 имеет вид: «Dagl'Indi al mar che 'l nostro celo imbruna (от Индии до моря, что затемняет наши небеса)».

VII. Полициано обращается к Ахиллу, главному герою «Илиады», в связи с тем, что в 1472 году он закончил перевод на латинский язык первых трех песен поэмы Гомера. Перевод «Илиады» обеспечил Полициано общеевропейскую славу великого гуманиста.

XI. *…девять сестр…* — Музы. *Диане предавался и каменам.* — Смысл: «предпочитал любовным страданиям охоту и поэзию». *Камены* — римское название Муз.

XVI. *...летейские каскады...* — Воды Леты, реки забвения, протекающей в царстве мертвых. Речь идет о том, что Амор заставляет влюбленного забыть обо всем, кроме своей любви.

XX. *Мед из ствола и желудь с ветки ели.* — В первобытном Золотом веке люди не знали земледелия и питались желудями.

XXIII. Амор похваляется своими победами над богами. *Юпитера я встарь облек рогами...* — Заставил принять облик быка для того, чтобы похитить Европу, дочь сидонского царя Агенора. *Дафна* — фессалийская нимфа, дочь речного бога Пенея, первая любовь Аполлона. Согласно мифу, изложенному в «Метаморфозах» Овидия (I, 452 и след.), Аполлон погнался за ней, и Дафна взмолилась о помощи к богам, после чего была превращена в лавровое дерево. *Я с трона адова совлек Плутона.* — Плутон, бог подземного мира, обычно не покидавший пределов своего царства, в отсутствие богини Деметры похитил ее дочь Прозерпину, сделав своей законной супругой.

XXVIII. *Мегера* — одна из трех фурий (эриний), сестра Алекто и Тисифоны, олицетворение гнева и возмездия.

XXXII. *Гем* — горная цепь в Македонии и Фракии, нынешние Балканы. *Пелион* — гора на

юго-востоке Фессалии, южное продолжение горы Осса. На этих горах и в их окрестностях, согласно мифологии, обитали кентавры, основным занятием которых считалась охота.

XXXVI. *Тантал* — сын Юпитера и Плуто, царь Фригии (в Малой Азии). За многочисленные преступления был наказан муками вечного голода и жажды, при этом он по горло стоит в воде и над ним свисают тяжелые от плодов ветви деревьев. Когда он пробует напиться — вода отступает, когда протягивает к плодам руку — ветви отклоняются.

XXXIX. *...лес гирканский...* — Гиркания — древнее название местности в Азии, занимавшей юго-восточный берег Каспийского моря (называвшегося также Гирканским). Горы в Гиркании были покрыты густыми лесами и изобиловали дикими зверями, в результате чего в античной поэзии волкам и тиграм зачастую давался эпитет «гирканский».

XLVI. *Талия* — одна из муз, покровительница комедии. *Минерва* (соответствует греческой Афине Палладе) — одно из верховных божеств римского пантеона, богиня войны и победы, а также мудрости, искусства и ремесел, почиталась вечно девственной.

L.…*фиалки и жемчужины…* — Метафорическое обозначение губ и зубов красавицы. *Сирены* — мифологические морские существа, обладавшие волшебным очаровывающим голосом, которым они завлекали мореходов на утесы и мели.

LI. *Авгурия* — в Древнем Риме: вид гадания, предсказание по полету птиц. *…брачному огню обречена…* — Смысл: «в отличие от нимф, посвященных Диане, не связана обетом девственности и безбрачия». *Лигурия* — прибрежная область на северо-западе Италии, омываемая Лигурийским морем, являющимся частью Средиземного.

LII. *Симонетта* — Симонетта Веспуччи, урожденная Каттанео (1453–1476), возлюбленная Джулиано Медичи. Была женой его приятеля Марко Веспуччи. Через год после состоявшегося турнира, когда Полициано начал сочинять вторую часть стансов, двадцатитрехлетняя Симонетта умерла от чахотки.

LIII. *…изошла из лона я Венерина.* — Родина исторической Симонетты — городок Портовенере, расположенный на лигурийском побережье.

LIX. *Амор законы предписал фортуне!* — в оригинале: «Ch'a virtute e fortuna Amor pon legge» («Амор дает законы даже доблести и Фортуне»). Сентенция восходит к представлениям о могуще-

стве Амора у поэтов «нового сладостного стиля», придававших особый смысл понятию «доблесть» (*virtute*).

LX. *…древний жалобный мотив…* — Намек на Филомелу, дочь царя Афин Пандиона. Терей, муж ее сестры Прокны, обесчестил Филомелу и лишил ее языка. Мстя ему, обе сестры убили сына Терея и Прокны — Итиса, за что Филомела была обращена в соловья, а Прокна в ласточку. В духе Ренессанса Полициано вкладывает в описания природы мифологический подтекст. *…нимфа Эхо…* — От неразделенной любви к Нарциссу, будучи им отвергнута, Эхо истаяла, и от нее остался лишь ее голос. *… киммерийских сумрачных владений…* — От киммерийцев (греч. Κιμμέριοι), древнего кочевого народа, обитавшего на северном берегу Черного моря. Согласно Гомеру («Одиссея», XI,14–22), они поселялись у Океана, в стране, окутанной вечным мраком и туманом. В связи с этим в литературе, начиная с античности, закрепилось понятие «киммерийский мрак».

LXV. *… лук незримый…* — Имеется в виду лук Амора, поразивший Джулиано, предводителя охотников.

LXVII. *Церера* — богиня плодородия, после долгих поисков своей единственной дочери Про-

зерпины, нашла ее в подземном царстве, где та стала супругой бога Плутона.

LXVIII. *Грации* (греч. Хариты) — три богини, спутницы Венеры, олицетворяющие Красоту, Юность и Удовольствие. *Зефир* — согласно римской традиции: олицетворение легкого теплого ветра. *Флора* — древнеиталийская богиня цветов, весны и полевых плодов.

LXIX. *Эрато* — муза любовной и эротической поэзии, ее атрибутом является кифара (разновидность лиры). «Соименницей Амора» названа от греко-латинского имени Амора — Эрот или Эрос.

LXXI. *… два ручья…* — Один ручей пробуждает любовь, другой ее убивает. Тема двух источников, обладающих противоположным друг другу действием, нашла широкое распространение в итальянской литературе, в частности, в поэмах «Влюбленный Роланд» Маттео Боярдо и «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто» (I, 78).

LXXIX. *Знак скорби носит Гиацинт…* — Гиацинт, сын царя Спарты Амикла, любимец Аполлона, нечаянно убитый им во время метания диска. Из крови оплаканного юноши вырос одноименный цветок, на лепестках которого запечатлелись буквы плачевного возгласа Аполлона «Ай, ай!» Данный гиацинт не соответствует тому цветку,

который мы сейчас так называем. М.Е. Грабарь-Пассек предположила, что это дикорастущий фиолетовый ирис (Iris germanica). *Нарцисс* — сын речного бога Кефиса и нимфы Лириопы (Лейриопы), влюбился в собственное отражение в источнике и умер от тоски, вызванной этой любовью. На месте его смерти вырос цветок, названный по его имени. *Клития* — океанида, дочь Океана и Тетиды. Будучи отвергнутой богом Солнца (Гелиосом), исчахла (отсюда в оригинале названа «бледной») и превратилась в гелиотроп, цветы которого в течение дня поворачиваются вслед за солнцем. *Адонис* — юноша, возлюбленный Венеры, был убит на охоте вепрем и после смерти превращен в анемон.

LXXXII. *Кипарис* — любимец Аполлона. Нечаянно во время забав дротиком убил своего любимого оленя. «От безмерного плача» (Овидий. «Метаморфозы», X, 136) был превращен в дерево, названное его именем.

…древо, что отрадно Геркулесу… — Имеется в виду белый тополь или осина — священное дерево Геркулеса. Геркулес, совершив свой двенадцатый подвиг (пленение Кербера), по дороге из Аида из веток дерева на Елисейских полях сплел себе венок. Листья на этом венке те, что

смотрели наружу, почернели, поскольку это цвет преисподней, а прижатые ко лбу Геркулеса, стали серебристо-белыми в знак того, что Геркулес совершал подвиги в обоих мирах (см. Роберт Грейвс «Мифы древней Греции», 134 f).

LXXXV. *И мирт, своей богиней очарован…* — мирт был в числе растений, посвященных Венере.

LXXXVIII. *Перед массильским львом…* — ср. Марциал. IX, 71, 1: «Лев, украшенье вершин массильских…». Массилия — восточная часть древней Нумидии в Северной Африке.

XCII. *Паситея* — самая юная из Граций, жена бога Сна.

XCIII. *Три Оры…* — Оры (Хоры, Горы) — божества часов, дней и времен года, выполняли роль прислужниц у богов высшего ранга (например, у Юпитера, Сатурна). В Афинах они почитались и как спутницы Афродиты. *Амброзию сбирают…* — Здесь, очевидно, совмещаются два значения слова «амброзия»: растение и пища олимпийских богов.

XCIV. *Аталанта* — дочь беотийского царя Схенея, отличавшаяся красотой и быстротой в беге. Состязаясь с нею, юноша Гиппомен бросал ей под ноги золотые яблоки, данные ему Венерой.

Поднимая их, Аталанта отстала, дав тем самым Гиппомену победить себя. *Филомела* — см. примеч. к октаве LX книги первой. *Гименей* — бог брака. По одной из версий мифа он сын музы танца Терпсихоры. Отсюда отведенная ему в поэме роль предводителя танцующих нимф.

XCV. *Но мастерству уступит матерьял …* — Реминисценция из «Метаморфоз» Овидия (II, 5), где эта фраза употреблена по отношению к дворцу Солнца. *Стероп и Бронтес* (Бронт) — от греч. «блещущий» и «грохочущий» — имена братьев-циклопов. Являлись подручными бога огня и кузнечного ремесла Вулкана (Гефеста), в недрах Этны ковали оружие и доспехи богам и героям. См. Гесиод. «Теогония», 139–146, Вергилий. «Энеида», VIII, 426 и след. *Монджибелло* — итальянское название вулкана Этны.

XCVII. *Здесь Целия изваяна тягота…* Целий — бог Уран, олицетворяющий небо. Уран, обладавший нескончаемой плодовитостью и порождавший чудовищ, был оскоплен своим сыном Сатурном по наущению Геи. Далее обстоятельства рождения Венеры Полициано излагает в соответствии с Гесиодом (см. «Теогония, 173 и след.)

XCIX. *Тетида* — жена бога Океана, дочь Урана

и Геи, олицетворение морской стихии. *Зефиры гонят раковину…* — это описание вдохновило Сандро Боттичелли на создание знаменитой картины «Рождение Венеры» (1484–1486), принадлежавшей Лоренцо Медичи.

CVII. *Ганимед* — сын царя Троса; пленившись его необыкновенной красотой, Юпитер принял образ орла и вознес Ганимеда на Олимп, сделав своим кравчим.

CVIII. *Отец Хирона — скакуном ретивым…* — Чтобы овладеть нимфой Филирой, Сатурн принял образ коня. Плодом их любви был мудрый кентавр Хирон, будущий наставник молодого Ахилла.

CX. *Ариадна* — дочь царя Крита Миноса и Пасифаи. Помогла Тесею одолеть Минотавра и бежала с ним на остров Наксос. Там, вероломно покинутая Тесеем, Ариадна стала женой Вакха.

CXII. *Силен* — воспитатель и кормилец Вакха, неизменный его спутник. Изображался пьяным старцем, сидящим верхом на осле. *Тирс* — атрибут Вакха и вакхантов: короткий деревянный жезл, увенчанный кедровой шишкой и обвитый виноградной лозой.

CXIV. *Сам Геркулес здесь шкуру льва оставил/ И в платье женском выглядит нелепо…* — В наказание за убийство Ифита, Геркулес в течение трех

лет находился в услужении у лидийской царицы Омфалы. Пленившись ее красотой, Геркулес забыл свою силу и мужественность и, в угоду ей отложив шкуру и палицу, облекся в женский наряд и надел женские украшения. См. Сенека. «Федра», 317–329.

CXV. *Полифем* — циклоп, сын Нептуна, владелец обширных стад в Сицилии. О его неудачной любви к нереиде Галатее, смеющейся над его уродливостью, см. Феокрит. XI, Овидий. «Метаморфозы», XIII, 750–897.

CXVII. *Поет, что молока она белее,/ Надменней телки…* — ср. Феокрит, XI, 20–21. *Двух медвежат, что борются со псами,/ И олениху чтоб взяла скорее…* — у Феокрита среди прочего Полифем предлагает в дар Галатее одиннадцать оленей и олениху, а также четырех медвежат.

CXXV. *Мычать ли вновь Юпитера заставил?* — См. примеч. к октаве XXIII книги первой. *Сатурна ль в дебрях Пелиона ржать?* — См. примеч. к октаве CVIII книги первой.

Книга вторая

II. *…старца-Мавра…* — имеется в виду крайняя западная точка мира — Атлантический океан, получивший свое название от мифического ти-

тана Атланта. Аналогичный по смыслу стих есть и у Лоренцо Медичи (см. «Аполлон и Пан», 3).

III. *Козимо* — Козимо Медичи (1389–1464), дед Лоренцо и Джулиано. После смерти за свои заслуги он был удостоен звания «отца отечества». У Полициано он назван также «италийским светочем» (italico splendore). *Пьеро* — сын Козимо, отец Лоренцо.

IV. Упоминаются три разных Лукреции: Лукреция Торнабуони, мать Лоренцо, Лукреция Донати, его возлюбленная, и Лукреция, жена Тарквиния Гордого — легендарная героиня Рима, образец нравственности.

…фессалийки … — т. е. Дафны.

X. *Делия* — эпитет богини Дианы по месту ее рождения — острову Делос.

XI. *Ты, Марс, когда над Фермодонтом скачешь…* — Согласно поэтической традиции, излюбленным местом пребывания Марса были края северных воинственных народов (гетов, скифов, сарматов). Фермодонт — река во Фракии, связанная с преданием об амазонках. У Вергилия («Энеида»,XI, 659) она ассоциируется с крайним севером.

XV. *Тот, кто поет о доблести Ахилла…* — сам Полициано.

XXII. *Киферея* — эпитет Венеры по названию острова Кифера, на который она вышла сразу после своего рождения из пены.

XXVIII. *И видит он: безжалостная донна…* — Аллегорическое изображение победы Целомудрия над Любовью (ср. Петрарка «Триумф целомудрия», 133 и след.) Симонетта Веспуччи в образе богини Минервы была изображена Сандро Боттичелли на знамени, под которым Джулиано Медичи выступал на турнире в январе 1475 года.

…минервина благого древа… — имеется в виду олива. *А в девственной груди ее — Горгона…* — Голова Медузы Горгоны была изображена на эгиде, щите Минервы, или на ее нагрудном панцире, она считалась своего рода атрибутом Минервы (ср. Вергилий, «Энеида», II, 616)

XXX. *… керастов ярых…* — Керасты — вид чудовищных змей, рожденных от крови Медузы Горгоны. Поэтическая традиция наделяла их рогами, а Лукан в «Фарсалии» (IX, 716) — также «гребнем подвижным». Здесь они упоминаются как волосы Горгоны.

XXXI…*низость гонит, сердце просветляя…* — Донна своей красотой способствует нравственному очищению и возвышению влюбленного. Этот тезис лег в основу средневековой теории

куртуазной любви, которую в Италии культивировали поэты «нового сладостного стиля» (Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, Г. Ареццо и др.).

XXXIV. *Тут облака как будто помрачнели…* — Введение мотива природного катаклизма, явленного Джулиано во сне, и следующее за ним рассуждение о Фортуне, очевидно, имели целью отразить в поэме событие действительности — неожиданную смерть Симонетты Веспуччи в 1476 году, но дальнейшего развития не получили ввиду незаконченности произведения.

XXXVII. *Он, от себя завися лишь, тем самым/Не в воле случая — он правит сам им.* Автор утверждает, что человеческая воля, полагающаяся лишь на самое себя, способна победить превратности случая и даже подчинить его себе. Здесь Полициано-гуманист близок к идеям стоицизма.

XXXVIII. *Эта* — горная цепь на юге Фессалии. *Латоны дочь* — Диана.

XLI. *Ты двери храма Януса блюдешь…* — Храм древнеримского двуликого бога Януса располагался на Форуме. Когда римляне вели войны, двери храма были открыты, а в мирное время — заперты. *Тритония* — эпитет богини Минервы по месту ее рождения — озеру Тритонида в Ливии или по ручью Тритон в Беотии.

XLV. *В честных сердцах, как птица в кроне древа,/ Селишься ты, божественный Амор.* — В оригинале реминисценция двух первых строк знаменитой канцоны Гвидо Гвиницелли: «Al cor gentil rempaira sempre amore/Come l'augello in selva a la verdure» («Любовь в сердцах гнездится благородных, / Как птица в светлой зелени дубров»).

Луиджи Пульчи
Бека из Дикомано

I. *Ненча* и *Валлера* — герои поэмы Лоренцо Медичи «Ненча из Барберино».

II. *Кваттрино* — мелкая монета.

IV на бис. В ряде изданий эта строфа отсутствует.

V. *Город* — Флоренция. У Пульчи здесь она названа «Город Цветка» (Città del Fiore).

…от городских, поди,/Получишь апельсинов пруд пруди! — Во время карнавала, по обычаю, юноши бросали избранницам апельсины, выражая тем самым свои чувства.

VI. *Ридда* — хоровод.

VII…*золотой фиал* — народное выражение «coppa d'oro» («золотая чаша»), когда хотят подчеркнуть исключительность достоинств кого-либо.

X. *Там огоньков увидели мы рой… драпу дали.* — Друзья увидели много фонариков, принадлежавших другим ухажерам, и приняли это за бесовский шабаш (tregenda).

XI. *Нуто* — ласкательное от имени Бенвенуто.

От этого имени ведется рассказ.

XIII. *Маттинада* — в отличие от серенады, поется под утро.

XXI.*Серкио* — один из псов Лоренцо Медичи, упомянут им в «Соколиной охоте».

Подестà — здесь: старейшина деревни.

Канцона

(«С тех пор как с милым Лавром я в разлуке...»)

В стихотворении изображены страдания поэта после отъезда его покровителя, а также любовь Лоренцо к Лукреции Донати. Образ Лоренцо-Лавра восходит к Лауре-Лавру у Петрарки. Когда Пульчи сочинял эту канцону, Лоренцо было 17 лет.

Канцона была послана в письме от 27 марта 1466 года Лоренцо, находящемуся тогда в Риме. В творчестве Пульчи это, пожалуй, единственный образец ученой лирики с использованием приемов Петрарки. По-крайней мере, другие его подобные канцоны нам неизвестны. Язык произведения отличается применением устаревших уже в то время словоформ и латинизмов. Кроме того, канцона перенасыщена мифологией и там, где этого бы не следовало. Например, в

идиллической сцене среди богов, предающихся беспечным забавам на лугу, почему-то упомянут сатир Марсий, жертва не в меру жестокой расправы Аполлона. Среди богов главного пантеона встречаются древнеиталийские божества Эгерия, Палес, Сильван, Флора. Стефано Карраи [11] усматривает влияние «Дриадео» Луки Пульчи в шестой стансе канцоны. В целом же, отметим цитаты из Петрарки (vv. 14, 41, 97–98) и Вергилия (vv.149 и 168).

С языческой мифологией у Пульчи тесно соседствует христианская: наравне с богами здесь упомянуты Иов, крест и колесница пророка Илии, а античная нимфа колеблется, не принять ли монашеский обет.

Деиопея — нереида, одна из четырнадцати нимф, состоящих в свите Юноны. У Вергилия («Энеида», I, 71–72) Юнона ее обещает выдать в жены богу ветров Эолу, если тот рассеет флот Энея.

Двух обреченных крест нести единый… — подразумеваются Лоренцо и Лукреция Донати.

Эгерия — мудрая нимфа, ставшая женой легендарного древнеримского царя Нумы Помпилия. После смерти мужа от скорби превратилась в родник, о чем сообщает Овидий в 15-й книге

«Метаморфоз».

Огню была я трутом… — Сгорала от любовной страсти.

Бежала от мужчин я, как от зла… — Здесь Пульчи сопоставляет монашеское целомудрие с культом девственности Дианы.

Касталиды — музы.

Делий — Аполлон.

Гамадриады — нимфы лесов, *напеи* — лугов.

Асканий — сын Энея. Его именем назван юный Лоренцо как сын Пьеро Медичи, первого покровителя Пульчи. Тем самым Луиджи льстит одновременно обоим Медичи, отцу и сыну.

…тень одна… — Исследователи полагают, что это сестра Лукреции, Костанца Донати.

Геро (миф.) — возлюбленная Леандра, ради встречи с которой он переплывал каждую ночь Геллеспонт. Когда Леандр утонул, Геро бросилась в море.

Сокровище мне ниспослал Юпитер… — Т. е. возможность лицезрения прекрасной нимфы. Строка, рифмующаяся с этой, отсутствует в оригинале. В связи с тем, что по смыслу лакуна не ощутима, можно предположить, что ее упустил сам автор.

К нему тянулся трижды я руками… — см. при-

меч. к «Пиру» Лоренцо (VII, 100–102).

…пиценский дол. — Пицен — область в древней Италии на восточном побережье, ныне — район Марке. Здесь прилагательное употреблено в смысле «плодородная равнина».

…век вдруг обновился… — См. Вергилий, «Буколики», IV, 52.

Сонеты

I

Он шею гнул с повадкой пеликана… — Пеликан упоминается в связи с народным поверьем о том, что кровью из своей груди он питает птенцов, особым образом выгибая клюв для того, чтобы поранить себе грудь.

…о Поле… — очевидно, о Маттео Франко.

…wein gut — Немецкая фраза в оригинале («доброе вино») нарочно исковеркана.

II

Сонет направлен против неаполитанцев. Написан между январем и апрелем 1471 года во время поездки Лоренцо Медичи в Неаполь. Город

издревле славился ворами и нечестными торговцами, также имел славу самого грязного.

Строки, выделенные курсивом, в оригинале имитируют местный диалект.

Кто б отнял «шарик», «поле», «молоток»… — Термины игры *pallamaglio*, популярной в Италии и, видимо, особенно в Неаполе, аналог современного крокета. Смысл: «тот, кто отучит неаполитанцев от этой игры, разлучит саламандру с огнем, ее природной стихией, т. е. совершит невозможное».

…у них не ценен поварок… — Пульчи, как истинный флорентийский гурман, тем самым высмеивает кулинарные пристрастия местных жителей.

Здесь вежливость ночным горшком прикрыта… — Намек на «обычай» неаполитанцев опорожнять ночные горшки прямо в окно, не считаясь со случайными прохожими.

Последний терцет явно двусмысленный, т. к. слово «бобы» (baccelli) имело также непристойное значение. *«Моллюска вам? На площади у башни»* — бессмысленная фраза.

III

…словно ястреб, ни глотка не взял. — По народному поверью, ястреб никогда не пьет.

Как на дроздов охота… — Застольный шум сравнивается с криками на птичьей охоте.

IV

Адресат сонета — Бартоломео Скала, секретарь Синьории при Лоренцо Медичи.

…круг, что Джотто вывел в старину… — Поговорка о глупце, связанная с эпизодом из жизни великого живописца Джотто. Как сообщает Вазари, в молодости он, по совету наставника явился ко двору папы и начертил там ровный совершенный круг без помощи циркуля, что всеми было сочтено как чудо. Во времена Джотто слово *tondo* («круглый») писалось как *tonto*, «глупый», «придурковатый».

Паландра (*palandra*) — первоначально: широкое торговое судно на Средиземноморье. Иронически так называли долгополую мешковатую одежду, в результате чего в XVII веке появилось слово *palandrana* — вид длинного халата.

Кьеджа — портовый городок близ Венеции.

Calandra — по-итальянски птица степной жаворонок, а также насекомое долгоносик. На жаргоне в окружении Лоренцо Медичи это слово означало что-то вроде мужского достоинства малых размеров. Строка в оригинале темна по смыслу.

И всё ж я не Кассандра… — «я не могу знать всё, как пророчица Кассандра».

…хины… — В оригинале *aloè patico* — лекарство от болезней печени; так говорили о человеке желчном и апатичном.

Встал пред сосудом он миропомазанья. — Смысл этого намека выяснить не удалось. Перевод приблизительный.

V

Яркий образец антиклерикализма Пульчи. Нападая на Маттео Франко, он называет его главным фарисеем, Каиафой, и попутно дает инвективу против всех священнослужителей.

Рахиль — библейский персонаж, символизирующий у Данте жизнь созерцательную, в отличие от ее сестры Лии — жизни деятельной. *Как в Псалмопевце смыслить мне высоком?* — «Как понимать псалмы Давида»?

…бисдоминский Михаил… — Архангел Михаил упомянут здесь как покровитель прихода Сан Микеле Бисдомини, где служил капелланом Маттео Франко.

…при былой бомбарде… — Возможен двоякий смысл: «при борьбе с мятежом Люцифера или при «бомбарде» Пульчи язвительными стихами в адрес Маттео Франко».

…пахнет вся, как говорят в Ломбардьи… — В оригинале употреблено слово «materie», означающее на диалекте Ломбардии зловонные, болезненные выделения тела.

Сто пять и пятьдесят сложить нетрудно… — Числительные, которые, будучи написаны римскими цифрами, образуют итальянское непристойное слово (CVL= culo).

…отрубишь правую мне руку… и далее — Смысл: «если ты не отрубишь мне ту руку, которой я писал эти стихи, то хотя бы дай мне того соуса, что сжег ни одну глотку, дабы я не поведал о твоих гнусностях».

Господне тело не для вас, злодеи,/Мошенники, плуты и фарисеи… — Смысл: «как нечестиво думать, что Христос претворил Свое Тело в святую Гостию для таких, как вы, негодяи, мошенники и фарисеи!» — резкий выпад против священно-

служителей.

Не делай огнь слабее… — Смысл: «пусть не ослабевает огонь в моей глотке, дабы не дать мне больше возможности бранить тебя».

VI

Ещё от сала в худеньких бочонках/ Подагра сера Чеджиа не жгла… — Приводится анекдот о том, что некий флорентинец Агостино Чеджиа заболел подагрой из-за того, что ел соленое свиное мясо, хранимое в особых маленьких бочонках.

Но сам Парнас меня честит и холит… — «Парнасом» Пульчи называл своего покровителя Лоренцо Медичи (см. его Канцону (v.2) в наст. изд.).

VII

Эрихтония или Эрихто́ — фессалийская ведьма, описанная у Лукана в «Фарсалии» (V, 533–569), упомянута Данте («Ад», IX, 22–2). Смысл: «твои стихи также ужасны, как пизанские макароны, которые как будто сварила ведьма».

Как Филомела, жертва злодеяния… — Соловей, в которого была превращена Филомела, обесчещенная мужем сестры Тереем (миф).

Burïasso — так назывались служители, следящие за соблюдением правил на рыцарских турнирах, своего рода секунданты. Здесь в значении «грубиян».

Буркьеллин — последователь Буркьелло (пренебрежительно).

Кирра и *Низа* — два холма вблизи Парнаса.

Монах ты бело-черный… — Намек на принадлежность Франко доминиканскому ордену, а также на его двуличие.

VIII

…две бабьих фиги… — Слово «*fica*» имеет два значения: фига и женский половой орган.

…железного ошейника… — Осужденным на казнь надевался железный ошейник.

Не трогать — жертва ката! — Возможно, пародия на стихи Петрарки (CXC, 9–11), что в переводе отразить не удалось.

Келено — гарпия.

IX

Ко вшам ты, Франко, мой возводишь род… — Нападая на Пульчи в одном из сонетов, Франко обыграл его фамилию так: «твое имя Джиджи из

рода Вшей» («il nome tuo è Gigi de' Pidocchi»), так как по-итальянски «pulci» означает «блохи». В ответ на такой выпад Луиджи написал этот сонет.

Agnus Dei — часть ординария мессы, состоящая из многократной аккламации «Агнец Божий».

Мне также восемьнадесять пристали,/Как шмотки осужденных — палачу. Смысл: «я молод, и это также верно, как то, что вещи осужденных, по старинному обычаю, принадлежат палачу».

Tractant fabrilia fabri — «ремеслом ремесленник занят» (Гораций, Послания, II, 1, 116). Стих, ставший поговоркой, в значении «у каждого свое ремесло».

X

…немногим больше я пигмея… — Пульчи был невысокого роста.

Галгано — почитаемый в Италии святой. Ему посвящено древнее аббатство в 30 км от Сиены, сохранившееся и поныне. Здесь это имя следует понимать двояко: в ироническом смысле и как символ Сиены, над жителями которой любили злословить флорентинцы.

Грациано — персонаж народных представлений: глупый, грязный толстяк.

XI

Башмак — непристойный смысл.

…Анджолина… — Анджело Полициано, на суд которого представляли свои произведения поэты, в том числе и Лоренцо Медичи.

…куколь пыжится… — Цитата из Данте («Рай», XXIX, 117) воспроизводится в переводе М.Л. Лозинского. *Куколь* — монашеский капюшон.

Сатурнчик — видимо, в значении «обжора».

…не звонче пуки… — Т. е. «испускаешь ветры звонче, чем это делает осел».

XII

Анджолин — см. примеч. к сонету XI.

Дза (настоящее имя — Стефано ди Т. Фортегьерри) и Орканья — флорентийские поэты, писавшие в жанре бурлеска.

…sed verba iniuriosa… — «…но слова оскорбительные» (лат.)

…колпак из них не склеить… — Смысл: «стихи твои настолько твердолобы, что из них не склеить бумажного колпака, символ глупости».

…а ля франсуоза. — «в манере Маттео Франко». В оригинале намеком обыгрываются значения

имени «Франко» — «смелый» и «французский».

Бадесса — Франко принадлежал к роду делла Бадесса; здесь обыгрывается это слово в унизительном для адресата значении: *badessa* — «аббатиса» (ит.).

XIV

Оставь свой виселичный капюшон! — Ответ на стих Франко «Я посылаю тебе капюшон для висельников» (I' ti mando un cappuccio da Fuligno).

…до Арманьяка… — В смысле: «зашел бы очень далеко».

Бальдракка — известное со времен Боккаччо злачное место во Флоренции, квартал притонов и домов разврата.

Сице — так, таким образом (ст. славянск.).

Банкеллино — дурачок.

XV

…семь колодцев… — Аллегория семи смертных грехов.

…кадку… пуд свинца… — Приспособление для очистки колодцев, выгребных ям: кадка на веревке, со свинцовым шаром в качестве грузила.

Дурлиндана — Дурандаль, Роландов меч.

…скатик… — Рыба «без хвоста и головы»: ит. *pesce pastinaca*, переводится как «скат» или «морской кот», в народной речи так называли глупого человека.

…как молвил друг Риньери-капеллану. — Персонажи не идентифицированы.

Крикка — старинная азартная игра. *Ошметка* — В оригинале «шляпка», непристойный смысл.

И кто б тебя святою Фиккой счел! — Поговорка, в смысле: «напрасно ты хочешь казаться чистым». «Святая Фикка», «*santa Ficca*», встречается также в «Большом Морганте» (XXV, 41, 2). Возможно, эта фраза образована от глагола «*ficcare*» (вгонять, втыкать, совать); в этом случае, смысл будет непристойным.

XVI

Образец мастерской версификации Пульчи: редкие дактилические рифмы подобраны здесь по принципу диссонанса. Возможно, темой сонета послужило участие Маттео Франко в птичьей охоте, любимой забаве Лоренцо Медичи и его окружения.

Пепполи — старинный болонский род, очень богатый.

Aloè patico — см. примеч. к сонету IV.

XVII

Мельхиседек — библейский персонаж, глава священников. Здесь Пульчи иронизирует над тщеславием своего оппонента.

Эй, Флегий! — См. Данте, «Ад» (VIII, 19). Флегий — мифологический царь лапифов, сын Арея. У Данте он страж 5-го круга Ада, перевозчик душ через Стигийское болото. *Пифон* — дракон, убитый Аполлоном.

...каверна... на стогне Рима... — Событие, описанное Титом Ливием (VII,6): в 362 г. до Р. Хр. на римском Форуме образовалась широкая пропасть, которая, по словам предсказателей, грозила городу великой опасностью. Тогда благородный Марк Курций в полном вооружении и на коне бросился в пропасть, после чего она закрылась.

...в минуту ту... — в миг повешенья.

XVIII

...во Франции сказали бы: крестом. — Согласно народному французскому поверью, у короля на правом плече отметка в форме креста как знак

особой Божьей милости.

Бисдомини — см. примеч. к сонету V.

XX

«*Испания! Испания!*» — возглас сражающихся, распространенный в рыцарской поэзии. Здесь употреблен иронически, поскольку Пульчи, высмеивая своего оппонента, подчас называет его рыцарем, обыгрывая тем самым значение слова «*franco*» («смелый»).

Агнесса — мать Маттео Франко.

...нетопырь от палки! — Имеется в виду мальчишеская забава запускать в небо летучую мышь, привязанную к шесту.

XXI

Обстоятельства, изложенные в сонете, можно реконструировать только опираясь на сам текст. Картина примерно такова: некий стихотворец, названный в строке 15 «сером Коминатой», выступил с сонетом, направленным против Пульчи, тем самым принял сторону его оппонента Маттео Франко. Не исключено, что тот это сделал по просьбе самого Франко. Луиджи отвечает непосредственно Франко, попутно срав-

нивая Коминату с мышонком (topolin) и называя «поэтишкой» (poetuzzo), указывая на его ничтожность. В катренах разворачивается обычное у Пульчи сравнение поэтического состязания с рыцарским турниром, причем он сообщает, что не атакует противника, а только разминается или гарцует на коне (здесь подходит весь спектр значений глагола «volteggiare», от «разминаться», до «вольтижировать»). Начало терцетов знаменуется резким переходом к «нападению»: Франко сравнивается с паразитом на мужских гениталиях, и далее идет целый ряд бурлескных обсценных намеков.

Но дверца Трои у тебя уж взята. — гомеровский эпизод здесь служит обсценным намеком.

…Этеокл… с Полиником — сыновья Эдипа, известные своей непримиримой враждой из-за престола Фив.

…«-акам», «-икам» («Qui fu goffo — iti et — ici») — подразумеваются рифмы сонета Франко.

XXII

Бальд и Бартоло — Бальдо Аджульоне и Бартоло Сассоферрато, знаменитые правоведы XIV века. *Пандекты* — свод выдержек из сочинений древнеримских юристов, основа средневековой

юриспруденции.

…скользкою улиткой и след. — Заведомый абсурд с упоминанием античных героев — один из приемов «темного» стиля, позаимствованный у Буркьелло.

Пустобрехи — монахи-паломники.

… блохи. — Язвительные стихи. Так Пульчи обыгрывает значение своей фамилии (см. примеч. к сонету IX).

XXV

Адресат — некий флорентинец, чье имя означает «блинчик». Как видно из текста, он занимался кузнечным ремеслом.

Многим работам великого флорентийского скульптора Донателло (ок. 1386–1466), придерживавшегося реалистических принципов, свойственна чрезвычайная экспрессия и некрасивость в воспроизведении человеческого тела. Например, св. Магдалина им изображена тощей старухой, статуя Давида в народе прозвана Zuccone («головастый»).

Античный и ренессансный тезис о том, что за природными телесными изъянами всегда скрывается низкая душа.

XXVI

Сонет датирован 1475. Написан к церковному Юбилею, когда совершалось массовое паломничество в Рим. Бенедетто Деи (между 1418 и 1492) — купец и писатель, много путешествовавший по странам Востока и Запада. В 1468 г. он первым из европейцев посетил Тимбукту. Принимал активное участие в общественной жизни Флоренции, составил «Хронику» города. Леонардо да Винчи посвятил ему одно из своих научных сочинений.

Пародия на начало Священного Писания. Имеется в виду тьма, предшествовавшая сотворению мира, и тьма, которая воцарится после конца времен.

Клюнутые — умалишенные.

Агнус деи — медальон из воска с изображением Агнца Божия.

Розарий — вид католических четок, символизирующих венок из роз.

… терны их язвят. — Имеется в виду терновый венец мученичества, здесь: иронически.

… в зубы твоего дракона — т. е. к Дьяволу и, одновременно, намек на крокодила, которого в

подарок Лоренцо Медичи для его зверинца привез Бенедетто Деи. Этот факт, зафиксированный в хрониках, произвел большое впечатление на современников.

XXVII

Сонет направлен против Платоновской академии, в частности, Марсилио Фичино, чьи идеи имели сильное влияние на позднее мировоззрение Лоренцо. Адресат — родственник Лоренцо Медичи, Пандольфо Ручеллаи.

На русский язык сонет переводился Р. Дубровкиным (см. «Итальянская поэзия в русских переводах», М.: Радуга. С. 109–111).

Стагирит — Аристотель, уроженец Стагиры.

XXVIII

И значит, бочкою не станет грамм. — Стих темный. Дословно: «итак, quartuccio (мера жидкости, равная примерно 1/4 л) не вернется в ящик (сундук)». По-видимому, пословица в смысле «мухе не стать слоном». Смысловой контекст строки не ясен.

XXIX

Марсилио Фичино (1433–1499) — выдающийся гуманист, философ, теолог и астролог, организатор и глава флорентийской Платоновской академии, автор перевода сочинений Платона и его последователей на латынь. В 1473 году он принял священнический сан. Фичино был крайне низкого мнения о Пульчи, считая его «выродком, нападающим на божественные предметы, Терситом, который больше заслуживает наказания, чем исправления, человеком, чья злоба столь велика, что избавить его от нее труднее, чем извлечь весь песок из моря». Луиджи, как видно из сонета, платил ему тою же монетой.

Не совсем ясно, почему Пульчи называет Фичино «дедом» (nonno), т. к. они были ровесниками. Возможно, здесь очередной бурлескный прием.

Восьмерка — Коллегия Восьми (Otto di balìa), входившая в состав учрежденного Лоренцо Совета Семидесяти, магистратуры Флорентийской республики. Комитет избирался каждые шесть месяцев из числа семидесяти и занимался вопросами внешней политики.

… *господина…* — Подразумевается Лоренцо

Медичи.

… ристалищным болваном… — Чучело в одежде сарацина, мишень для стрельбы из лука.

XXX

Сонет высмеивает пристрастие миланцев к зелени и овощам. Представляет собой диалог двух миланских горожан, обсуждающих обжору флорентинца (возможно, самого Пульчи). В диалоге ломаный язык имитирует местный диалект, некоторые намеки не поддаются толкованию.

Амброзин — в данную эпоху распространенное среди миланцев имя.

Имеется в виду Пиджелло Портинари, миланский банкир.